

ГЕРЦЕН И ЗАПАД

ИДЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Статья А. И. Володина

I

Герцен — выдающийся деятель отечественной культуры, писатель, сыгравший, по словам В. И. Ленина, «великую роль в подготовке русской революции»¹. Преданный сын своего народа, Герцен вместе с тем был лишен каких бы то ни было националистических предрассудков. «Да, в наш патриотизм входит общечеловеческое, и не только входит, но занимает первое место...» — убежденно писал он в середине 1840-х годов (II, 407). И это убеждение Герцен пронес через всю свою жизнь.

Проблема соотношения национального и общечеловеческого, обычно выступавшая в общем контексте философско-исторических размышлений Герцена в своей конкретной, особенной форме, а именно как проблема отношения России к Западу, — одна из центральных в его творчестве. Это имело свои глубокие причины.

Именно в «эпоху Герцена», символическими границами которой можно считать восстание декабристов 1825 г., с одной стороны, и Парижскую коммуну 1871 г. — с другой, происходит интенсивное приобщение России к группе исторических — в гегелевском смысле этого слова — народов: бывшая «периферия» все зримее притягивается к центру мировой истории, даже втягивается в него, оказывая все более сильное воздействие на судьбы общеевропейской цивилизации (было ли такое воздействие в том или ином случае положительным или отрицательным — это уже особый вопрос). Процесс «европеизации», обуржуазивания России — явление и неоднозначное по своим тенденциям, и далеко не одномерное. Это и рост ее экономических связей со странами Запада; это и возникновение внутри страны хозяйственных, социальных и политических институтов капиталистического типа, объективно родственных западноевропейским, хотя и не всегда связанных с ними генетически; это и развитие, так сказать, международной активности российского самодержавного государства, одно время занявшего даже вакансию «жандарма Европы»; это и, одновременно, растущая солидарность русских и европейских демократов и революционеров; это и интернационализация культурной, духовной жизни страны, возникновение и бурный рост внутри русского национального сознания того его компонента, который основоположники марксизма называли «всеобщим сознанием той или другой нации»². В сущности об этом последнем обстоятельстве писал еще в 1937 г. С. А. Макашин, отмечавший, что «замечательное поколение строителей русской культуры, родившихся в десятилетие между взятием Бастилии и 18-м брюмера, — поколение, к которому принадлежали Пушкин, Грибоедов, Пестель, Чаадаев, Рылеев, Вяземский, Н. Тургенев, — осознает себя деятелями не только русской, но и всевропейской истории и культуры, хотя и на русском ее участке. Русскую национальную культуру они вполне сознательно — и это их характерная черта — строят как одну из великих европейских национальных культур, в тесном общении с ними, с учетом и творческой переработкой их опыта»³. Герцен, родившийся через двенадцать лет после переворота 18 брюмера и принадлежавший уже в значительной степени к иному поколению деятелей русской культуры, не в меньшей мере, чем его предшественники, выступает как мыслитель и художник европейского склада и масштаба.

Скажем больше: творчество Герцена было не только проявлением отмеченного выше приобщения России к мировому духовному производству, но и, что для нас еще более важно, активным двигателем процесса вовлечения России в общеевропейскую культурно-интеллектуальную жизнь.

Судьба поставила Герцена лицом к лицу с современным ему западноевропейским миром. Половину своей сознательной жизни, с 1847 до 1870 г., он находился вне родины, проживая во

Франции, Италии, Англии, Швейцарии... Никогда не порывая духовной связи с отчизной, Герцен на протяжении долгих лет осуществлял великую историческую миссию — миссию своеобразного посредничества между Россией и Западом. Его деятельность в годы эмиграции — символическое выражение крепнущих взаимосвязей и растущего единства российского и международного освободительного движения, интернационализации мирового революционного процесса.

Творчество Герцена — мыслителя и писателя — не только находится на уровне высших достижений современной ему западноевропейской культуры, оно во многом европейское и по своему содержанию, а в определенной мере также и по выражению: Герцен печатался на многих европейских языках, некоторые же из его статей, книг и написаны были первоначально по-французски, другие продиктованы по-немецки. Наиболее значительные сочинения Герцена олицетворяют собой процесс взаимопроникновения лучших, передовых традиций русской и западноевропейской социально-философской мысли и художественной литературы.

Во многих произведениях Герцена нашли оригинальное воплощение его нагрянувшие, раздумья над проблемой, столь сильно волновавшей умы и сердца многих его соотечественников, — проблемой совпадения и несовпадения исторических путей, а точнее говоря, грядущих судеб России и Запада.

Сравнительно слабое развитие буржуазных начал в русской действительности 1830—1860-х годов составляло объективную основу для постановки вопросов: а нельзя ли России миновать насыщенный кровавыми столкновениями путь развития, проделанный странами Западной Европы? Стоит ли позгорять их печальный опыт (а «печали» капитализма обнаруживали себя на Западе все более явно)? Нет ли иных, особых, соответствующих национальным традициям, путей к будущему? Русские мыслители самых разных мировоззрений, но объединенные общим беспокойством о будущем своей страны, проявляют именно в это время предельную активность в осмыслении проблемы «Россия и Запад». Амплитуда решений — громадная. Сами решения подчас настолько сложны, что выстроить их в один ряд — по политическому или какому-либо иному признаку — просто невозможно. Чаадаев... Гоголь... Белинский... Хомяков... Достоевский... Салтыков-Щедрин... Тютчев... Чернышевский... Писарев... Чичерин... В этом практически бесконечном ряду, одну «закраину» которого составляет космополитическое «западничество», а другую — националистическое «русофильство», Герцен — одна из важнейших фигур.

Не случайный факт, хотя и всего-навсего только внешнее обнаружение глубинных процессов: именно в эпоху Герцена появились и вошли в литературный, да и в житейский обиход понятия «западничество», «славянофильство», «русофильство», а потом и «почвенничество».

Характерно, однако, что ни «западник», ни «славянофил» — понятия, обозначавшие определенный ориентир социально-философского мышления и служившие идеологическими мундирами для разных групп лиц, часто незаурядных, — никак не подходили Герцену. Кто бы ни примерял их на него (а желающих было немало, особенно после смерти мыслителя), эти понятия-мундиры никак не «шли» к нему, каждое из них было ему узко.

В одном из писем к М. К. Рейхель в ноябре 1859 г. Герцен заметил: «Не поддавайтесь европолюбам. — Я не их и не славянофил — те и другие идолопоклонники: одни верят в Парижскую, другие — в Иверскую. Я ни в ту, ни в другую» (XXVI, 311). Действительно, предложенные Герценом понимание, толкование, решение проблемы «Россия и Запад» оказывались совсем иными — сложнее и глубже, чем те, которые фиксировались в понятиях «западничество» и «славянофильство».

Правда, это не было выражено Герценом в одной четкой, жесткой формуле. Да и говорить о герценовском *решении* данной проблемы можно только условно, беря слово «решение» в кавычки, ибо оно представляло собой не ответ и не серию ответов на какие-либо определенные вопросы, а, скорее, узел взаимосвязанных вопросов, их постановку. В этом нашла выражение одна из характернейших особенностей герценовского художественно-теоретического мышления: он представил своим современникам и оставил нам в наследство не столько теоретически строгие выкладки, тщательно сформулированные выводы, сколько будоражащие душу и мозг вопросы.

И все-таки, если мы хотим определить своеобразие герценовского вклада в решение проблемы «Россия и Запад», то нам необходимо в первую очередь обратиться к выдвинутой и известным образом обоснованной им концепции так называемого «русского» социализма, концепции, ставшей исходной при формировании одного из влиятельнейших направлений общественной мысли и освободительного движения в России XIX в. — народничества. А обратившись к ней, мы обнаружим: основным понятием, «интегрирующим», спаивающим воедино будущее России и итог раз-



ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ 14 ИЮЛЯ 1789 г.

Гравюра И. Эльмана по рисунку Ш. Монне

Лист из альбома: «Description abrégée des quinze estampes sur les principales journées de la Révolution».
Paris, <1790-е гг.>

Музей Герцена, Москва

вития, главным наследством западноевропейского мира (а также, кстати сказать, основным содержанием духовных исканий самого Герцена) является социализм.

Идея социалистического будущего человечества была одним из наивысших ко времени Герцена достижений европейской науки об обществе. И вот эту-то идею, казавшуюся химерической даже многим представителям «просвещенного Запада», Герцен сделал попытку «приложить» к отсталой, полуазиатской, крестьянской России, к стране, находившейся, согласно общепринятым в Европе меркам, чуть ли не в арьергарде цивилизации. И не просто приложить — привить к России, скрестить с Россией, «одействотворить» в России.

II

Мы упомянули выше лишь о некоторых характерных чертах жизни, деятельности и творчества Герцена. Но уже из сказанного, думается, видно, почему каждый, кто когда-либо писал о Герцене, осмыслял значение его социально-философских идей, исследовал его биографию и сочинения, не мог, по существу, уйти от темы «Герцен и Запад». Иногда она становилась и предметом более или менее специального рассмотрения, конечно, не во всем ее громадном объеме, но в в каких-то более или менее существенных аспектах. К этой теме обращались историки, литературоведы, философы и публицисты, представлявшие разные политические и идейные течения — буржуазное (С. Н. Булгаков, М. М. Ковалевский, М. О. Гершензон, П. Б. Струве и др.), народническое (Н. С. Рusanов, В. М. Чернов и др.), марксистское (Г. В. Плеханов, Ю. М. Стеклов и др.). Известно, сколь глубоко принципиально разрешена эта тема в статье В. И. Ленина «Памяти Герцена». Руководствуясь марксистско-ленинской методологией, советские ученые в тесном контакте с исследователями-герценоведами других стран осуществляли и осуществляют изучение данной темы по ряду направлений.

С большой долей условности и схематизма можно выделить три «пласта залегания» рассматриваемой темы и соответственно — три уровня ее освоения.

Первый — это поиск, соби́рание и публикация документальных материалов, составляющих как бы эмпирический базис данной темы, причем не только сочинений и писем самого Герцена, но и произведений, мемуаров его современников, журнальных и газетных откликов, а также установление неизвестных ранее зарубежных знакомых, корреспондентов Герцена, новых фактов изучения им произведений западноевропейской литературы и т. п. Множество материалов такого рода содержит, в частности, осуществленное М. К. Лемке Полное собрание сочинений и писем Герцена. Существенными вехами плодотворной источниковедческой работы явились шесть ранее вышедших «герцено-огаревских» томов «Литературного наследства» и, конечно же, издание 30-томного Собрания сочинений Герцена. Дальнейшее значительное приращение источников рассматриваемой темы дают вышедшие из печати первые три тома «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена». Интереснейшие новые документы содержит настоящий том «Литературного наследства».

Второй уровень в освоении темы «Герцен и Запад» — изучение ее в сравнительно частных, относительно самостоятельных аспектах: анализ личных и творческих взаимоотношений Герцена с тем или иным западноевропейским деятелем, мыслителем, писателем, характеристика отношения Герцена к определенным событиям социально-политической жизни Запада; исследование того, какое отражение в его творчестве получали те или иные проблемы зарубежной науки, литературы, искусства и т. п. Можно отметить существенные достижения в этой области марксистского герценоведения, выразившиеся, в частности, в ряде содержательных статей в томах «Литературного наследства», в сборнике «Проблемы изучения Герцена» (М., 1963) и др. Тем не менее разработка этого пласта осуществляется пока еще медленно. Не в последнюю очередь это объясняется объективными трудностями, связанными с изучением упомянутых выше вопросов: они требуют от исследователя знаний в области не только отечественной, но и зарубежной истории — будь то история социальных движений или история литературы, философии, экономической науки. Выход настоящего тома «Литературного наследства», в котором помещены обстоятельные статьи советских и зарубежных ученых, подытоживающие изучение проблем «Герцен и Англия», «Герцен и Франция», «Герцен и Италия», «Герцен и Германия» и т. д., — существенное продвижение в научной разработке данного тематического пласта.

Наконец, имеется и третий, самый глубокий пласт рассматриваемой темы: анализ Герценом уроков западного социального и духовного развития при постановке и рассмотрении им важнейших политических, нравственных, философских проблем — проблем, имевших в силу своего общетеоретического характера значение как для России, так равным образом и для Запада. Мы имеем в виду, в частности, такие проблемы, как единство и многовариантность исторического процесса, диалектика свободной человеческой деятельности и объективных обстоятельств, противоречия в развитии общества, сущность и судьбы буржуазной цивилизации, социально-этическая природа мещанства, роль разумного начала в истории, диалектика цели и средств в политической борьбе, взаимоотношение эволюции и революции в истории, личностного и коллективистского начал в общественной жизни, знания и нравственность, революция и нравственность, возможность мирного пути к социализму и т. д.⁴

Революционизируя самой постановкой этих проблем социально-философскую науку своего времени и общеевропейское общественное сознание, Герцен оказывается исторически первым в ряду тех русских мыслителей, чьи творения и сегодня еще будят, тревожат совесть и разум человечества. В этом ряду — Достоевский, Чехов, Толстой...

Многим из этих проблем Герцен не сумел дать последовательного научного решения. Его ответы на жгучие вопросы, поставленные практикой происходившей на его глазах острой классово-политической борьбы, теоретической мыслью его времени, оказывались, как правило, пронизанными противоречиями. «Противоречия А. Смита, — заметил однажды Маркс, — важны в том смысле, что они заключают в себе проблемы, которых он, правда, не решает, но которые он ставит уже тем, что сам себе противоречит»⁵. Эти слова Маркса можно с полным правом отнести и к Герцену, заметив при этом дополнительно, что русский мыслитель — в отличие от А. Смита — обычно стремился к намеренному, сознательному обнажению и заострению обнаруживаемых им противоречий в сфере общественной практики, духовной культуры, социальной теории или же между ними.

Своеобразная диалектичность, антиномичность герценовского идейного творчества, свидетельствующая не столько о слабости, как это может показаться на поверхностный взгляд, сколько о силе мыслителя, о пронизательности и отваге его мысли, не раз была предметом далеко не научных спекуляций со стороны буржуазных авторов. Играя на противоречиях социально-фило-

софской концепции Герцена, некоторые из них (И. Берлин, В. Пирожкова и др.) предпринимали попытки так интерпретировать «вклад Запада» в духовный мир этого выдающегося русского мыслителя, что, вульгарно осовремененный и представленный крайне односторонне, он превращался под их пером в яркого ниспровергателя идей революции и социализма. Естественно, что это не могло не вызвать соответствующей реакции у советских ученых, показавших и осудивших предвзятый, необъективный характер такого подхода к наследию Герцена.

Вместе с тем приходится все же признать, что по крайней мере некоторые из тех реальных проблем, на которых спекулируют И. Берлин и близкие ему по духу современные интерпретаторы Герцена, проблем, к постановке и оригинальному освещению которых Герцен пришел в результате глубокого осмысления западноевропейской действительности, рассмотрены в нашей литературе еще далеко не достаточно.

Вот почему из всего обилия сюжетов, входящих в тему «Герцен и Запад», мы сочли целесообразным сосредоточиться в этой статье лишь на следующем: каким образом опыт современных Герцену западноевропейских революционных (и контрреволюционных) движений, прежде всего событий 1848—1849 гг., повлиял на его понимание и истолкование революции и социализма? Разумеется, наше вынужденно краткое рассмотрение данного вопроса будет иметь здесь довольно общий, а в отдельных случаях даже тезисный характер.

III

Символ, не более — первая встреча, первое «столкновение» Герцена с Западом: младенец в захваченной войсками Наполеона Москве...

Но уже «школа Запада» в юношеские годы, в доэмигрантский период деятельности — явление для дальнейшей творческой биографии Герцена весьма существенное.

Конечно, главной школой была сама русская жизнь. Мировоззрение Герцена складывалось и развивалось прежде всего под определяющим воздействием внутренних факторов, насущных потребностей национального развития. Наследник и продолжатель дела декабристов, Герцен в иных исторических условиях — в условиях николаевской реакции — стремился найти новые пути и средства борьбы за освобождение родины от самодержавно-крепостнического гнета. Невозможность открытой политической деятельности предопределила интенсивное погружение в теорию: в ней прежде всего ищутся Герценом, как и многими его современниками, ответы на «проклятые вопросы» бытия.

Общеизвестно, какую громадную роль в идейных и художественных исканиях Герцена периода 1830—1840-х годов сыграло освоение им богатейшего опыта предшествовавших поколений творцов отечественной культуры и, конечно же, современной ему русской литературы и науки. Упомянем хотя бы о том заметном следе, который оставили в духовном мире Герцена сочинения Грибоедова и Рылеева, Пушкина и Гоголя, исторические труды Карамзина, журналистика Полевого, «Философическое письмо» Чаадаева, лекции Грановского и Рудье...

Вместе с тем становление и развитие Герцена, характер и проблематику его творчества 1830—1840-х годов совершенно невозможно понять без учета места и роли Запада в формировании его духа — точнее, того влияния, которое оказали на него произведения мастеров западноевропейской культуры эпохи Возрождения и Просвещения, представителей современной ему зарубежной общественной мысли, науки и литературы, а также, конечно, отнюдь не в последнюю очередь события социально-политической жизни Западной Европы того времени.

Считая науку и культуру всеобщим достоянием, Герцен — и это, вообще говоря, очень для него характерно — уже в первых же произведениях делает ведущими, опорными понятиями своего творчества понятия *человечества* и *науки*. Но не только в терминологии дело: драмы человечества Герцен принимает близко к сердцу, а важнейшие достижения зарубежной культуры — литературы, науки, философии — впитывает, превращая в собственную духовную индивидуальность.

Свободное, с детства, владение французским и немецким языками давало Герцену возможность чувствовать себя «дома» в западной художественной литературе. Напомним лишь о том воодушевлении и увлечении, с которыми — в разные годы — Герцен зачитывается поэтическими творениями Шиллера и Гете, Данте и Шекспира. В круге его чтения произведения многих других писателей Франции, Германии, Англии, Италии, Испании.

Пожалуй, как никто другой из русских людей того времени, Герцен тщательно изучает труды европейских философов — сначала преимущественно французских (Вольтера, Руссо,

Кузена, Кине, Лерминье и др.), а потом в особенности немецких (Гегеля, Фейербаха, младогегельянцев). Прекрасный знаток истории западной философии и науки (здесь руководствами для него в первую очередь были изданные в 1830-х годах «Лекции по истории философии» Гегеля и книги Фейербаха «История новой философии от Бэкона Веруламского до Бенедикта Спинозы» и «Изложение, развитие и критика философии Лейбница»), Герцен хорошо разбирался в острой идейно-философской борьбе, происходившей в Германии в начале 1840-х годов. На основе поистине энциклопедических философских и естественно-научных знаний и в результате глубокого проникновения в сущность философских проблем современности создаются им два цикла статей — «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», не потерявшие во многом своего значения и сегодня. Оценивая философские взгляды Герцена, В. И. Ленин написал: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени (. . .) Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом»⁶.

Высоко ценя, заинтересованно изучая, критически перерабатывая и усваивая достижения науки Запада, Герцен считал высшим итогом ее развития идею социализма. Непосредственно-исторически его обращение к этой идее было детерминировано событиями западными. Известно, с каким энтузиазмом воспринял Герцен весть об июльской революции 1830 г. во Франции. Два номера «Journal des Débats», сообщавшие об этом событии, Герцен, по его словам, «перечитал сто раз (. . .) знал наизусть» (VIII, 133). «Мы следили шаг за шагом, — свидетельствовал он, — за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамена Констана до Дюпон де Лёра и Арман Кареля» (VIII, 134). Но вскоре последовали иного рода вести — о расстреле Лионского восстания. А потом еще: либеральная, «революционная» Франция ничем не помогла, как ожидали многие, полякам, поднявшим восстание против николаевского деспотизма. . . Не раз и не два писал Герцен впоследствии о том, что социалистическая мысль в России явилась как реакция на разочарование в идеологии западноевропейского буржуазного либерализма после и в связи с июльской революцией 1830 г. и разгромом польского восстания 1830—1831 гг. Вот одно из таких свидетельств: «После Июльской революции, окончившейся лионской *резней*, после польского восстания, окончившегося *водворением порядка в Варшаве*, в России потеряли веру в политику; там стали подозревать бесплодие либерализма и бессилие конституционализма. С одной стороны, становилось все очевиднее, что русский народ не солидаризируется с меньшинством, с другой — стали с ужасом замечать убожество революционной идеи, господствующей во Франции. Сомневались, отчаивались, искали чего-то иного.

Это «иное» уже было найдено...» (XII, 76), — говорит Герцен, имея в виду социалистические учения.

В теориях Сен-Симона и Фурье, с которыми Герцен познакомился в 1832—1833 гг., он нашел для себя ответ на томивший его вопрос о будущем человечества. То, что уже в начале 1830-х годов Герцен становится приверженцем социалистических идей, во многом предопределило направленность его последующих социально-философских исканий. Конечно, увлечение мечтой о социалистическом обновлении человечества не означало отказа от ранее исповедовавшегося просветительства (в реализации Просвещения Герцен видит даже некоторые преимущества Германии по сравнению с Францией). Но все же основной тон его мировоззрению задает отныне устремленность к «палингенезии» — провозглашенному социалистами возрождению человечества.

Вера в такое будущее, где будет «не нужно ни господина, ни слуги» (XXI, 26), принявшая одно время вид религиозной веры, требовала переосмысления не только настоящего, но и прошлого человечества. Считая центральным событием всей прошлой истории Великую французскую революцию, Герцен уже в одной из самых первых своих работ — статье «О месте человека в природе» (1832) — усматривает в этой революции «темный кровавый терроризм», но вместе с тем видит ее значение в том, что из произведенных ею развалин «возник новый человек, стряхнул с себя пыль и, благодаря предшественников, начал новое здание. Теперь он строит, погодим судить его, — это великое дело будет принадлежать потомству» (I, 21, 25).

В утопическом социализме Запада Герцена привлекает прежде всего констатация ограниченности, недостаточности тех преобразований в обществе, которые были осуществлены в результате совершившихся буржуазных революций, критика капиталистической цивилизации с точки зрения идеального строя социальной гармонии. В идее социализма Герцен видит про-

возвестие нового «тома» мировой истории, грядущей эпохи, которая, окончательно решив проблему согласования личных и общественных интересов, воплотит в себе вместе с тем все то разумное, что было достигнуто человечеством ранее.

В конце 1830-х — первой половине 1840-х годов Герцен знакомится с трудами и идеями современных ему социалистических мыслителей — Леру, Консидерана, Блана, Прудона, Вейтлинга. Одновременно по сочинениям Гизо, Шлоссера, Карреля и других историков он внимательно изучает революционные движения, политическое и духовное развитие Запада.

Один из стимулов для этого серьезного погружения в историю Европы — стремление выявить происхождение идей социализма. Так, проследившая по работе Луи Блана «История десяти лет» события революции 1830 г., Герцен записывает в дневнике как важный результат своих размышлений: «Политические перевороты без социального сделались невозможны» (II, 287). Дочитав первые три тома этого труда, Герцен вновь обращается к теме о «необходимости социального переворота». Он пишет, что «теперь», т. е. после революции 1830 г., после проповедей сен-симонистов и крушения республиканцев, эта необходимость «стала очевидна, враги развития, как Гизо, понимают и трепещут. Изменение права собственности, коммунальная жизнь, организация работ — вопросы, занимающие всех, видящих далее носа, нелепость случайного и нелепого распределения такого важного орудия, как богатство, нелепость гражданского порядка, приносящего на жертву огромное большинство, невозможность равенства при таком устройстве — все это стало очевидно, — а давно ли? < . . . > Конечно, при лучшем общественном устройстве многие не будут иметь возможности тратить деньги, как теперь, но никто не будет мереть с голоду < . . . > Франции принадлежит великая инициатива этого переворота. Она ему положила начало Конвентом. Болезненно достигает она до осуществления. Достигнет ли, когда? — Все равно человечество ей не забудет первый шаг» (II, 289).

В этих словах не только критика эксплуататорского строя за его «нелепость», критика, основанная на убеждении в принципиальной «разумности» истории, но и усмотрение направленности хода развития общества — к социализму. С таким пониманием социального процесса связаны и упреки Герцена в адрес славянофилов: «Удивляюсь, как славянобеснующиеся не понимают истории, не понимают европейского развития, — это помешательство» (II, 289).

Изучение трудов французских, немецких и английских историков то и дело приводит Герцена к сопоставлению путей развития и современного состояния России и стран Западной Европы. Так, по поводу «Истории Английской революции...» Гизо Герцен записывает: «Расстояние наше с Европой во всем неизмеримо. В Европе самодержавие было болезнь одного века, от которой сама власть стремилась отречься (скрывая цель под личиной общественной пользы), у нас в заключение всей истории нашей, не имевшей никакого знамени, в XIX веке водрузили хоругвь, на которой просто и ясно говорится, что цель наша, слово эпохи — самодержавие. Народ — только поддержка самодержавия. Представьте европейские государства: Сардинию, Неаполь, Австрию, где бы цинизм деспотизма дошел до того, чтоб на знамени написать „абсолютизм — самовольство власти...“» (II, 292). При чтении книги А. Карреля «История контрреволюции в Англии», сравнивая деспотизм «отвратительно ограниченного» Якова II с политической ситуацией в России, Герцен пишет: «Разница притеснений и ужасов Якова с нашим состоянием огромная, там есть партия за него, у нас только повиновение из невежества и выгоды < . . . > Яков II прямо боролся, и с ним боролись, там были права на борьбу, ему бог знает каких трудов стоило сделать судебную власть подлою, у нас понятия нет о праве вне произвола. Там насилие, революция, абнормальность — у нас обыкновенный порядок дел; оттого там человек шел на плаху невинно, но



АНРИ ДЕ СЕН-СИМОН

Портрет работы А. Лабиль-Гиар (пастель), 1796.
Копия, 1848

Bibliothèque de l'Arsenal, Париж

мог высказать это, у нас молча и немо казнили бы его, у нас не усомнились бы в том, что он казнен по праву» (II, 293—294).

Впоследствии, характеризуя свои воззрения 1840-х годов и утверждая, что «в основах» они были теми же, которые отстаивались им двадцать лет спустя, Герцен писал, что тогда, до своего отъезда за границу, он «не знал Запада, т. е. знал его книжно, теоретически, и еще больше <...> любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам». «Видя, — продолжал Герцен, — как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником*» (XVIII, 278).

Верные в принципе, эти слова Герцена нуждаются в некоторой корректировке: его знание Запада в 1840-х годах все же не было исключительно книжным, теоретическим. Большую информацию о жизни и событиях за кордоном Герцен черпал из бесед с возвращавшимися оттуда русскими путешественниками (Н. П. Огаревым, В. П. Боткиным, А. И. Тургеневым и др.), из обращенных к нему писем друзей и знакомых, по тем или иным причинам находившихся за рубежом, а кроме того, конечно, из русской и иностранной прессы. В своей совокупности все это также формировало его отношение к европейской жизни, его понимание проблем Запада.

Так, по поводу известий о восстании в Греции, в результате которого король Оттон I вынужден был дать стране конституцию, и о движении возглавлявшейся Дж. Маццини «Молодой Италии» Герцен отмечает в своем дневнике 9 октября 1843 г.: «3 сентября в Афинах и движение в Италии. Итак, юг Европы не спит. В Италии будут казни. В Греции — бог знает что. Правительство Людвига-Филиппа против — оно не хочет понять своего призвания в борьбе двух начал и укрепляет Париж. Без крови не развяжутся эти узлы. Отходящее начало судорожно выдерживает свое место и, лишённое всяких чувств, готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя» (II, 309). В связи с начавшимся 4 июня 1844 г. восстанием силезских ткачей Герцен пишет: «В Силезии бунтуют работники, ломают машины, бросают изделия, etc., etc. <...> Месть бунтовавших очевидна, они жгли векселя, выбрасывали бумаги, деньги, портили товар и не крали» (II, 360). Откликается Герцен и на восстания в Праге и других городах Чехии: «29 <июля 1844 г.>. В Праге и около работники продолжают войну с машинами <...> Пора же, наконец, опомниться людям, пора явиться религии, которая на хоругви своей поставит уничтожение незаконных привилегий меньшинства» (II, 370).

Как видим, хотя Герцена и причисляли к стану тогдашних «западников», его (как, впрочем, и Белинского, и молодого Салтыкова-Щедрина) приверженность к социалистическому идеалу не позволяет ему идеализировать буржуазные порядки, детерминирует своеобразие его места и роли в идейной жизни России 1840-х годов.

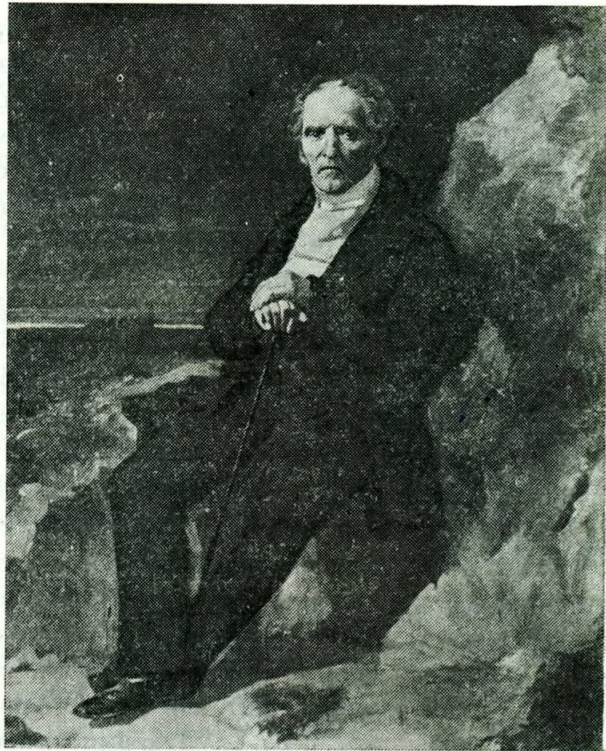
Да, в ненависти и пренебрежении идеологов официальной народности (и смыкавшихся с ними в данном отношении славянофилов) к Западу Герцен видит «ненависть и пренебрежение к свободе мысли, к праву, ко всем гарантиям, ко всей цивилизации», более того, — «ко всему процессу развития рода человеческого, ибо Запад, — по убеждению Герцена, — как преемник древнего мира, как результат всего движения и всех движений, — все прошлое и настоящее человечество (ибо не арифметическая цифра, счет племен или людей — человечество)» (II, 240).

Но вместе с тем, любя Запад «всею ненавистью к николаевскому самовластью» («Как странно сделается на душе, когда видишь все бедное развитие права где-нибудь в Пруссии, вдруг взглянешь домой — и Пруссия покажется раем земным» — II, 233), Герцен сознает и несовершенство порядков европейских, — настолько, что ему «становится страшно и стыдно» (II, 359) при знакомстве с теми «ранами общественными» буржуазного строя, которые вскрыла социалистическая литература и которые чем дальше, тем все больше становились очевидными. Так что «западником» Герцен был далеко не правоверным.

IV

Считая наивысшим достижением западного развития идею социализма, Герцен все же не видит исчерпывающего, окончательного, вполне убедительного решения социального вопроса ни в одной из известных ему социалистических теорий. В каждой из них он находит — наряду с сильными сторонами, «резкой истиной» — недостатки, односторонности, а то и «нелепости» (II, 313—314). Склоняясь более всего к учению фурьеристов, Герцен далеко не удовлетворен устройством их фаланстера (см. II, 361). Вообще, по его мнению, как теория социализм находится лишь в стадии своего становления, нуждается в более прочном научном философском обосновании и, кроме того, в своем полном развитии он должен быть доступен массам.

При чтении «Всеобщей истории церкви» А. Ф. Гфррера, отмечая «поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами» и уделяя особенное внимание тем учениям, из которых сложилось раннее христианство, Герцен пишет: «В наше время социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении, они предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют membra disjecta * будущей великой формулы, но ни в одном опыте нет полного лозунга. Без всякого сомнения, у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но чего-то недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании, — счастье, что ученики его задвинули его сочинения своими. У сен-симонистов ученики погубили учителя. Народы будут холодны, пока проповедь пойдет этим путем; но учения эти велики тем, что они возбуждают, наконец, истинно народное слово, как евангелие. Доселе с народом можно говорить только через священное писание и, надобно заметить, социальная сторона христианства всего менее развита; евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая



ШАРЛЬ ФУРЬЕ

Портрет работы Э. Жигу (масло). 1836
Лувр, Париж (дар В. Консидерана).

готова на братство. Коммунизм, конечно, ближе к массам, — продолжает Герцен, имея в виду, очевидно, учение Вейтлинга, — но доселе он является более как негация, как та громовая туча, которая чревата молниями, разобьющими нелепый общественный быт, если люди не покаются, видя перед собой суд божий. „Искупление, примирение, παλιγγενεσία и ἀποκατάσις πάντων“ ** — слова, произносимые тогда и теперь. Обновление неминуемо» (II, 345).

Переведенная на язык философии истории проблема связи социалистического идеала с действительностью, теории с практикой, науки с массами выступает у Герцена в виде идеи о необходимости интегрирования национального опыта различных стран, конкретнее говоря, синтеза немецкой философии и французского социализма (и шире — французского социального движения). В своем дневнике Герцен отмечает, что «характеры Германии и Франции в деле эмансипации», выражающиеся в журналистике этих двух стран, противоположны: Германию отличает «твердая мысль, глубина и притом квинетизм», во Франции — «сколько жизни, огня, слов таких, которые сейчас соберут кружки на бульварах, и притом какая плоскость понимания истин независимо от современных интересов! Философски-политические статьи просто смешны; фр(анцузы) двумя веками отстали в спекуляции от немцев, так, как немцы пятью от французов в приложении идеи права к действительности» (II, 224). Вместе с тем Герцен отмечает и общее в развитии обоих народов: «Франция, — пишет он в «Дилетантизме в науке», — своим путем дошла до заключений, очень близких к заключениям науки германской, но не умеет перенести их на всеобщий язык науки, так, как Германия не умеет языком жизни повторить логику» (III, 73).

При всем очевидном схематизме данных рассуждений налицо фиксирование противоречивости, рассредоточенности исторического прогресса на Западе, как он имел место до сих пор. А кроме того, в этом подходе обнаруживается позиция, которая ставит Герцена тремя головами выше всех отечественных англоманов, франко- или германофилов — и предшествовавших, и современных ему.

В общем уже в первой половине 1840-х годов посредством интенсивнейшего проникновения в интеллектуальную сокровищницу Запада Герцен не только приходит к тем выводам, которые созвучны были идеям передовых европейских мыслителей (мы имеем в виду прежде все-

* разрозненные части (лат.).

** возрождение и приведение всего в первоначальное состояние (древнегреч.).

го концепцию философии Гегеля как «алгебры революции», положение о необходимости и плодотворности соединения философской теории с социальной практикой, попытку синтезирования немецкой философии и французского социализма и т. п.), но кое в чем даже опережает их⁷.

Важным элементом размышлений Герцена 1840-х годов о грядущем осуществлении царства разума и справедливости, «примирении» идеала и действительности, науки и жизни является допущение особой роли русских в дальнейшем развитии человеческой цивилизации. Возможно, считает он, что «органом» этого примирения будет Франция или Германия. Однако «в этом деле, может, и мы можем вложить лепту» (II, 257). «Может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории поздно приходим — не кости, а сочные плоды» (III, 73).

Правда, о том, что русские, славяне вообще, «в будущем, вероятно, призваны ко многому» (II, 289), Герцен говорит очень осторожно, «гадательным» образом. Вместе с тем уже теперь — в ходе острых споров со славянофилами — он обращает внимание на примитивно-коммунистические черты быта русской крестьянской общины как на возможный зародыш будущего развития. После беседы с путешествовавшим по России бароном Гакстгаузеном Герцен замечает (май 1843 г.): «Он находит важным элементом, сохранившимся из глубокой древности, общинность, его-то надобно развивать, сообразно требованиям времени etc.» (II, 281). Несколько дней спустя он записывает: «Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей — все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости»; но вместе с тем славянофилы, как считает Герцен, забывают об отсутствии у русского крестьянина «всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел» (II, 288).

А в феврале 1844 г., не в первый уже раз размышляя о том, какой же народ проложит дорогу социалистическому будущему, грядущей эпохе, «которая на знамени своем поставит не личность, а общину, не свободу, а братство, не абстрактное равенство, а органическое распределение труда», Герцен пишет: «Славяне ли, оплодотворясь Европой, одействотворят идеал ее и приобщат к своей жизни дряхлую Европу, или она нас приобщит к поюневшей жизни своей? Славянофилы разрешают этого рода вопросы скоро, как будто дело давно решенное. Есть указания, но далеко нет полного решения» (II, 336).

Все-таки авангард исторического прогресса, его ударную силу Герцен видит в это время на Западе: он полон ожиданием революции, верит в нее, ждет «сигнала» из Франции.

Как известно, после первого непосредственного знакомства с Западной Европой герценовское ожидание революции сильно подтачивается настроением социального скепсиса. В произведениях и письмах Герцена 1847 г. эта вера и этот скепсис находятся в довольно сложном переплетении.

Но при первом же известии о февральской революции 1848 г. во Франции вера взяла верх: Герцену представляется, что новая революция начнет собой эпоху всеобщего равенства и братства, эпоху социализма.

V

Свидетель, наблюдатель, очевидец... Такими словами обычно характеризуем мы отношение Герцена к революции 1848—1849 гг. И действительно, ему многое довелось лично увидеть и услышать в бурлящей Европе конца 1840-х годов, когда «наконец-то старуха проснулась и пошла писать» (XIII, 65). Некоторые из произведений Герцена — своеобразная хроника, летопись революции; в них, а также в письмах и мемуарах Герцена — галерея ярких картин тогдашних событий⁸, портретов участников движения, политических деятелей, со многими из которых Герцен был близко знаком.

Впрочем, Герцен не только созерцал и описывал революцию — он сам участвовал в ряде социальных выступлений — и в Италии, и во Франции. То и дело мы видим его на улицах и площадях, где волнуется народная толпа; он близко наблюдает манифестацию в Риме в связи с революционными событиями в Королевстве обеих Сицилий («...мы были дома на улице...» — свидетельствовала о тех днях жена Герцена⁹), посещает литературно-политические клубы, непосредственно участвует в демонстрации 22 марта 1848 г. в Риме и других массовых собраниях. В кипящем страстями Париже 1848 г. Герцен буквально, говоря его словами, «жил на площади» (XIII, 326). Так, 15 мая он «с утра до ночи на улице» (V, 132) и собственными глазами наблюдает за неудавшейся попыткой рабочих масс разогнать Национальное собрание (Герцен — у его дверей) и образовать «свое», революционное правительство. 23 июня, в день начала восстания па-

рижских пролетариев, он рядом со строителями баррикад. И один из рабочих протягивает Герцену ружье (после Герцен сокрушался подчас, что не взял его, — см. X, 231). Годом позже, 13 июня 1849 г.; Герцен участвовал в демонстрации, организованной мелкобуржуазной «Горой»¹⁰.

Однако вряд ли будет верным на основании указанных выше и подобных им фактов зачислять «подтягивавшего» «Марсельезу» Герцена в ряды участников революции (как это иногда делается). В этом отношении он не выдерживает, например, никакого сравнения с М. А. Бакуниным, который был одним из главных действующих лиц революционной драмы; он — на баррикадах, на авансцене борьбы; Герцен же — в массе, в толпе, «в эшелоне»...

Но дело даже не в этом: ни понятиями «очевидец», «свидетель», «хроникер», «летописец», ни указанием на причастность к революционному процессу конца 1840-х годов не схватывается, не улавливается своеобразие роли Герцена в этом процессе. Гораздо больше здесь к месту говорить о его *сопереживании, сострадании* главным политическим драмам революции как особой форме *предельно активного духовного соучастия* в них. Это соучастие оказалось на поверку гораздо более ценным, плодотворным, поучительным по своим результатам, чем непосредственное, личное, но подчас бездумное, «механическое», хотя, быть может, и в высшей степени экспансивное, энергичное, страстное участие в практическом движении.

Герценовское сопереживание революции (в особенности июньскому поражению парижского пролетариата) было нерасторжимо связано с прочувствованным *осмыслением* перевернувшего его душу революционного опыта 1848 г. Повторим: строго говоря, этот опыт для Герцена — не индивидуальный, не субъективный, это *не его* дело; но он становился таковым, превращался в *кровное дело* благодаря глубоко заинтересованному проникновению в него наблюдательнейшего художника и выдающегося мыслителя. «Для меня *все это не шутка*, а последняя сущность, пульса мозга, сердца — даже рук и ног» (XXIII, 97) — вот какими словами сам Герцен определял свое отношение к событиям 1848 г. «Да, я плакал на июньских баррикадах, еще теплых от крови, и теперь плачу при воспоминании об этих проклятых днях, в которых каннибалы порядка восторжествовали, — писал Герцен в 1854 г. — Я буду очень счастлив, если мои писания могут служить для уяснения „патологии“ революции, и цель моя будет совершенно достигнута, если я могу указать, как последние молнии революции сверкнули и отразились в русском понимании» (V, 224). Вдумаемся и в такое признание его: «Июньская кровь взошла у меня в мозг и нервы (. . .)» (XIV, 243).

События революции, и всего более то, что произошло в июне 1848 г., когда победившие буржуа, писавшие на своих знаменах: «республика, свобода, равенство, братство», руками «лавочников в мундирах» расстреляли восставших против новой власти пролетариев¹¹, стали важнейшим рубежом в развитии Герцена. Революция 1848—1849 гг., тотчас обернувшаяся контрреволюцией, внесла громадный вклад в духовный мир русского мыслителя. Без большого риска впасть в ошибку можно, думается, сказать, что эта революция явилась вообще главным, центральным событием всей жизни Герцена.

Конечно, не будь Герцена — революция все равно произошла бы так, как она произошла. Какого-либо отпечатка на происходивших тогда событиях Герцен — в отличие от целого ряда других деятелей той эпохи — не оставил. Но, не будь Герцена, само понимание этой революции, ее смысла, следствий и уроков было бы неполным, ущербным. И это следует считать реальным вкладом Герцена в общий революционный процесс XIX в. Ибо революция — это не только непосредственная борьба классов за государственную власть, не только исторически кратковременное, хронологически фиксированное изменение социально-экономических структур и политических институтов в той или иной стране; революция — это еще и громадные, обычно неоднозначные, сдвиги в духовной сфере, в индивидуальном и массовом сознании, в культуре, сдвиги, оказывающие серьезное воздействие на подготовку, осуществление, сам характер последующих революционных актов, а значит, и на ход истории в целом. Так что революции 1848—1849 гг. очень «повезло», что у нее оказался *такой* свидетель, как Герцен, что она «встретилась» с ним.

Герцен, повторяем, не просто честный, добросовестный хроникер революции; он ее исследователь, ее «патологоанатом», стремящийся понять, раскрыть ее анатомию и физиологию. Точнее сказать, он ее философ. Недаром свою наиболее выстраданную книгу о ней — «С того берега» — он назвал «философией революции 48 г.» (XXIII, 178). Эта философия революции представлена не только в книгах «С того берега» и «Письма из Франции и Италии», но и во многих других его произведениях и письмах. В этих сочинениях Герцена и многокрасочная картина революции

1848 г., и вместе с тем комплекс идей, представляющих определенный вклад в теорию революционной борьбы, в историю социалистической мысли.

Выражением глубочайшего, хотя и полного противоречий, прочувствования и осмысления революции 1848 г. явились духовная драма Герцена и неразрывно связанный с ней скептицизм русского мыслителя. При всех его издержках этот скептицизм представлял собой не нигилистическую капитуляцию перед не оправдавшей горячих надежд действительностью, не индивидуалистическое, «экзистенциалистское» самоизолирование от мира, как это изображается в работах некоторых буржуазных авторов, а своеобразную форму интенсивных идейных исканий, ведущих (и приведших!) к открытиям, имевшим не только теоретическое, но и высоко нравственное значение.

VI

Герценовское понимание революции 1848—1849 гг. отягощено многими ошибочными представлениями. Сопоставление его трактовки причин, природы и последствий революции с тем анализом классовой борьбы во Франции, Германии и Италии, который в те же годы был осуществлен Марксом и Энгельсом, свидетельствует об этом с полной очевидностью.

Одно из основных заблуждений Герцена — восприятие и оценка революции (собственно говоря, февральских событий) как начала социалистического переворота. В. И. Ленин называл это «буржуазными иллюзиями в социализме», «иллюзиями „надклассового“ буржуазного демократизма»¹². И сами эти иллюзии, свойственные многим демократам и социалистам той эпохи, и их крушение в ходе революции были связаны у Герцена с выдвиганием им ряда неверных положений как политического, так и философского характера. Известно, что он так и не понял до конца классового характера революции, переоценивал после ее поражения силу воздействия буржуазной, «мещанской» идеологии на пролетарские массы Запада и т. д.

В книге «С того берега» Герцен писал: «Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства (< . . . >) Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле — пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!» (VI, 53). Уловив ту закономерность, что народ в своем революционном порыве выходит за пределы буржуазной революции, однако не понимая, что для совершения революции буржуазии нужен народ и используется он ею лишь в качестве тарана, Герцен останавливался в явной растерянности перед следующим противоречием: «(< . . . >) либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе» (VI, 82).

Не умея объяснить действительной сущности либерализма, найти его корни, оставаясь под обаянием лозунгов февральской революции, которая была, по определению Маркса, «красивой революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно, находясь в неразвитом виде (< . . . >»¹³, Герцен мучился вопросом, где корни контрреволюционного поведения членов Временного правительства. Ему казалось, что поражение революции объясняется главным образом их личным предательством. И он напряженно размышлял над тем, как могло получиться, что «люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы» (VI, 52), «почему именно этим людям в руки попала судьба народа, освободившегося за минуту до того?» (V, 149). Герцен не сумел увидеть, что «эти люди» представляли интересы определенного класса; что с провозглашением республики никакого освобождения «близников», собственно, не произошло; что политическое руководство движением находилось в руках буржуазии; что революция не могла быть никакой иной, кроме как буржуазной.

Идеалист в понимании истории, Герцен переоценивал значение волевых и нравственных начал в социальном движении, делая при этом сильный, — и, надо признать, в значительной степени справедливый — упор на «ответственность» политических деятелей: «Отдавая обстоятельствам то, что им принадлежит, мы не покроем, однако, ими людей, — люди тоже факты и пусть несут ответственность за свои дела, — кто их заставлял выйти на сцену, взяться своими слабыми руками за судьбы мира? Где их призвание, где их помазание?» (V, 133)¹⁴. Герцен пишет о «ро-

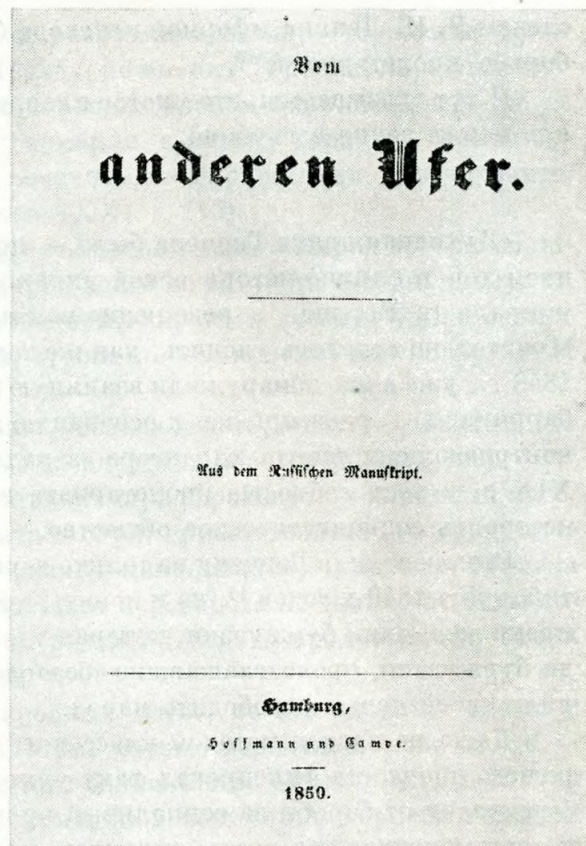
ковой неловкости» Временного правительства, которая вела его «от ошибки к ошибке, чтоб не сказать от измены к измене» (V, 163), о «нелепости» его действий. Он ссылается на эклектичность натуры Ламартина, говорит о развращающем влиянии власти на Ледрю-Роллена. Временное правительство, по Герцену, «боялось разорваться с прежним порядком < . . . > Люди, судившие и рядившие Францию, а с ней вместе и всю Европу, ни разу не подумали, чем, собственно, должна отличаться новая республика от старой монархии < . . . > они боялись взять революцию на свою ответственность < . . . >» (V, 161). Боязнь, незнание, ошибки, неловкость — к этому, в сущности, сводит Герцен все дело. В качестве одной из причин поражения революции он указывает даже на «абстрактность» французов, на их «фанатизм в идее», возведение истины «в догмат», их «дуализм», «риторическую нравственность», «неприлагаемую к практической жизни», и т. п.

Впоследствии, в «Былом и думах», в качестве важнейшей причины гибели революции Герцен укажет на то, что она следовала по стопам событий конца XVIII в. Указывая на негативные личные качества членов временного правительства (нерасторопность Ледрю-Роллена, формализм Гинара), способствовавшие поражению революции, Герцен отмечал: «Внутренняя причина состояла в бедности той республиканской идеи, из которой шло движение. Идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой, могут даже, как Христос, еще раз, два показаться после смерти своим adeptам — но трудно для них снова завладеть жизнью и вести ее. Они не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей» (X, 53).

В представлении Герцена ни одна теория, ни одно учение не предвидели и не смогли объяснить происшедшего в 1848 г. Это дает ему основание не только перейти на антидоктринерские позиции, но и поставить вопрос о ценности социальной теории. Кризис утопически-социалистических систем, крушение в ходе революции собственной веры в разум человечества Герцен воспринимает как кризис науки вообще. Утверждая, что события истории «независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания» (VI, 90), что мира не переделаешь «по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги» (VI, 91), что необходимо «вглядывание» в действительность «без заготовленной темы, без придуманного идеала» (VI, 89), Герцен поворачивает не только от утопизма к реализму, но и от рационализма к скептицизму, отказываясь, по существу, — но только на время! — от создания теории общественного движения.

В середине 1840-х годов, рассматривая в «Письмах об изучении природы» скептицизм как «естественное последствие догматизма» (III, 198), Герцен писал о Сексте-Эмпирике и Юме, что своей иронией, своим скепсисом они убивали «*всю науку* за то, что она — *не вся наука*» (III, 199), т. е. что она лишь относительно истинна. Теперь же он сам поставил под сомнение возможность исторической истины, общественной науки только потому, что те «истины», которых он придерживался до 1848 г., обнаружили свою несостоятельность.

Здесь нет нужды, по-видимому, более пространно писать об ошибках и заблуждениях Герцена. Гораздо более важным представляется нам увидеть за этими ошибками и заблуждениями сильные стороны в герценовском восприятии и понимании исторического процесса в Европе середины XIX в., установить «момент истины» в его скептическом мировосприятии, явившемся, по



ПЕРВАЯ ИЗДАННАЯ НА ЗАПАДЕ
КНИГА ГЕРЦЕНА

«С того берега» в немецком переводе.
Гамбург, 1850

Титульный лист

Тираж книги был отпечатан в Цюрихе и затем
отправлен гамбургской фирме
«Гофман и Кампе»

«Мною печатается в Цюрихе на немецком языке
сочинение, которое можно было бы назвать
«философией революций 48 года»

(Герцен — П. Ж. Прудону, 27 августа 1849 г.)

словам В. И. Ленина, «формой перехода (. . .) к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»¹⁵.

И тут оказывается, что многое в современной ему западноевропейской действительности Герцен понял верно и глубоко.

VII

«Духовная драма Герцена была, — по определению В. И. Ленина, — порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не созрела*»¹⁶. Мучительно стараясь уяснить, как же так получилось, что силы, выступавшие вместе в феврале 1848 г., уже в мае обнаружили взаимную враждебность, а в июне оказались по разные стороны баррикады, Герцен пришел к осознанию этих двух величайшего значения исторических фактов: контрреволюционного характера западноевропейского буржуазного либерализма середины XIX в. и неспособности пролетариата в 1848 г. взять государственную власть в свои руки и построить социалистическое общество.

Это позволило Герцену не только верно охарактеризовать некоторые из драматических событий конца 1840-х годов¹⁷, но и понять, что Февральская революция была совершена народом вопреки желаниям буржуазии, которая удовлетворилась бы реформами, что демократические вожди буржуазии, провозглашавшие «безопасно-революционные тосты на банкетах», вовсе и не ставили своей целью освободить народ.

Даже не владея методом классового анализа, Герцен тем не менее с прозорливостью хорошего диагноста фиксировал факт умирания буржуазной революционности в Европе, поворот буржуазии от борьбы за социальный прогресс к политическому консерватизму. Он справедливо и зло высмеивал тех республиканцев, которые хотели подойти к событиям 1848 г. с меркой революции конца XVIII в.: «Быть теперь революционерами в смысле Конвента было бы почти то же, что явиться в Конвент гугенотом. В XVIII столетии достаточно было быть республиканцем, чтоб быть революционером, теперь можно очень легко быть республиканцем и отчаянным консерватором» (V, 178).

В ходе и под влиянием революции Герцен понял обманчиво-иллюзорный, мнимо народный характер буржуазных политических свобод, лишь прикрывающих новые формы угнетения трудящихся масс. Отсюда та блестящая критика Герценом пороков капиталистической цивилизации, которую мы так высоко у него ценим. «Буржуазный либерализм, — писал, в частности, Герцен, — представляет собой лишь освобождение собственника, демократия — лишь внешнее уравнивание: она признает право пролетариата на собственность, не давая ему средств, и провозглашает равенство преступников перед судом, предоставляя невинным устраиваться как им угодно» (XII, 473).

Поразительно современными являются и данная Герценом квалификация капиталистического строя как цивилизации меньшинства, и определение им образа жизни буржуазного общества как мещанского, и указания на громадную опасность для пролетариата подпасть под воздействие крайне заразного духа мещанства (см., в частности, XII, 472; XVI, 140—141).

Определив июньские дни 1848 г., когда «собрание осерчалых лавочников» расстреляло восставших работников, как завязку «великой борьбы», остановить которую невозможно (VI, 43, 47), Герцен отразил в своем творчестве — что также делает его одним из крупнейших социальных мыслителей XIX в. — и другой всемирно-исторический факт: незрелость революционности современного ему пролетариата. Это выразилось, с одной стороны, в осознании и проповедовании Герценом идеи неспособности народных масс того времени к установлению социалистического общества, а с другой — в резкой критике им несостоятельности, утопичности или даже реакционности теорий освобождения, «придуманных за спиной народа» (XVI, 27), воплощенных в различных революционных и социалистических доктринах.

Уже в середине 1848 г., после июньских событий, Герцен приходит к выводу о том, что, хотя массы еще не готовы к социализму, они, не желая больше терпеть насилия над собой, по-видимому, скоро вновь поднимутся на борьбу. И если им удастся победить в новой кровавой схватке, они навсегда покончат со старой цивилизацией. В сентябре 1848 г. Герцен развивает такие мысли: «Или в скором времени должна кровь литься реками, или на время Франция погибла» (XIII, 94). Те же идеи волнуют Герцена и два месяца спустя. В ноябре он пишет московским друзьям: «Мы присутствуем при великой драме (. . .) Драма эта не более и не менее как разложение хрис-

тианско-европейского мира. О возможности (не добив, не разрушив этот мир) торжества демократии и социализма и говорить нечего» (XXIII, 111). Правда, по мнению Герцена, народные массы Запада «не готовы к гармоническому вступлению во владение плодом цивилизации — но не готовы массы, с другой стороны, и терпеть, особенно в Германии, а потому характер взрыва будет страшный. В 93 году террор и все прочее сделано мешанами и парижанами, — вообразите, что будет, когда весь пролетариат в Европе станет на ноги» (XXIII, 113).

В письме А. А. Чумикову от 9 августа (28 июля) 1851 г. Герцен пишет: «Народ вообще слишком хвалят, это революционный jargon: французский народ вовсе не готов ни к социализму, ни к свободе, — но он готов к революции; сознание общественной неправды, злоба и удивительное единство — вот его сила. Французский народ — армия, армия не демократии, как воображают монтаньяры, а армия коммунизма.

Но ведь в борьбе армия-то и нужна < . . . > Коммунизма бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация старого общества и введение во владение нового» (XXIV, 199).

Таким образом, отдавая себе отчет в слабости сил социализма, в неразвитости народных масс, Герцен всей душой на стороне обманутого пролетариата и готов приветствовать его грядущую революцию — даже если она приведет к временному упадку цивилизации. Опасения Герцена не были беспочвенными: на зависимость характера грядущего переворота не только от силы сопротивления эксплуататорских классов, но и от уровня развития самого пролетариата, самих трудящихся многократно указывали и Маркс, и Ленин¹⁸.

Допускаемая Герценом «настоящая революция народных масс», по его словам, «сметет с лица земли старое общественное устройство». При этом, «всего вероятнее, — писал он, — что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большинства будет носить характер резко коммунистический» (V, 205). Термин «коммунистический» в понимании Герцена включал в себя черты регламентирования и уравнительности, присущие некоторым утопическим социальным системам. (Напомним, что Герцен резко критиковал уравнительные идеи коммуниста-утописта XVIII в. Гракха Бабефа, фаланстер Фурье, мастерские Л. Блана, попытку Кабе строго расписать жизнь в обществе будущего.) Употребляя термин «коммунистический», Герцен хотел этим сказать, что пролетариат Запада в своем сознании еще не поднялся до полного социалистического идеала будущего, наиболее соответствующего природе человека. «Утопии французского работника, — писал Герцен, — постоянно склоняются к казенной организации работ, к казарменному коммунизму...» (XVIII, 354). Поэтому общество, которое будет воздвигнуто массами на развалинах старого мира, первоначально не будет, по Герцену, иметь своим принципом уважение личности.

Герцен полагал, что вследствие «коммунистического» характера грядущая народная революция будет кровавой и разрушительной. В стремлении уравнивать все и всех массы безжалостно разрушат культуру старого мира, в котором совершалось «поглощение большинства на выработку светлой и роскошной жизни меньшинству» (VI, 57). «Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Среди грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест — явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры» (V, 216).

Основным тоном этого «символа веры» будет, по Герцену, социализм. Но пока еще западное общество для него не созрело. «Как будто, в самом деле, достаточно объявить уничтожение пролетариата, всеобщее воспитание, братство и любовь, чтоб из этого что-нибудь вышло...» (XXIII, 187) — со злой иронией заявляет Герцен по поводу социальных иллюзий одного из руководителей Баденского восстания — Г. Струве.

Считая незрелыми все известные ему теории социализма, Герцен в «Письмах к путешественнику» (1865) утверждает необходимость перехода от социализма, бывшего по преимуществу мечтой и фантазией, к социализму как науке и движению. «Социальные идеи пережили свою героическую интродукцию, — пишет он, — ни бархатный жилет верховного отца Анфантена, ни фаланстер Фурье, ни государственная барщина, ни *communa болонгет* *, ни разрушение семьи, ни отрицание собственности — ничего не сделают теперь сверх того, что они сделали для вызова на сцену и постановки вопросов.

Поле, по-видимому, стало беднее, но замечательно очистилось, много выяснилось в том, где искать ответы и где их не может быть.

* общность имущества (лат.).

Люди недовольны экономическими условиями труда, упорченным неравновесием сил, их потерей, рабством работы, злоупотреблением накопленных богатств — но они не хотят переезжать в рабочие казармы, не хотят, чтоб правительство гоняло их на барщину, не хотят разрушать семьи и очаги, не хотят поступиться частной собственностью,

т. е. они хотят при обновлении, при перерождении сохранить, насколько возможно, свою привычную жизнь, согласуя ее с новыми условиями. На каких же разумных основаниях можно сделать, согласить такие сложные и противуречающие потребности? В этом-то и задача, весь социальный вопрос так и становится, освобожденный от громовых туч своих и молний» (XVIII, 364).

Отрицание наличия готовых решений социального вопроса, заявления о порочной уравнительной ограниченности, свойственной многим системам утопического социализма, сопрягаются у Герцена с идеей о необходимости созревания общества до социализма, созревания, исключая навязывание народу идей свободы и равенства «сверху», требующего, с одной стороны, роста сознания самих масс, а с другой — наличия определенных материальных предпосылок в жизни общества.

VIII

Отмечая закономерность кровавого характера всех прошлых революций, допуская — по временам — возможность «коммунистической» революции-мести, Герцен — и это один из важнейших выводов, сделанных им из «уроков» 1848 г., — в принципе не приемлет идею кровавой террористической революции как способа установления социалистического общества. Утверждение Герцена: «Мы перестали любить террор, в чем бы он ни был и какая бы цель его ни была» (XIII, 294) — означает — если не по своей форме, то по своему глубинному содержанию — отрицание той идеи, что «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть»¹⁹. Герцен категорически настаивает на том, что грядущий социальный переворот должен состоять не столько в разрушении старого, сколько в созидании, творчестве новых форм общественной жизни. Именно поэтому Герцен с горячей убежденностью отвергает представление о всегдашней готовности народа к революции, установку на революцию-мечь, разные формы революционного авантюризма. В отличие от многих политических «нетерпеливцев», которые «принимали реакцию, поднимавшуюся во всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу и «ждали завтра, через неделю свой черед» (X, 232), Герцен не видит для своего века реальных сил, способных осуществить социальный переворот. Рассматривая июньские события 1848 г. как начало борьбы «между гнилой, отжившей, бесчеловечной цивилизацией и новым социализмом» (XXIII, 80), он — после некоторых колебаний — приходит к выводу, что пролетариату Запада долго еще не подняться после расправы, учиненной над ним буржуазией. «Страшно то, — пишет Герцен, — что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения (. . .) Как ни тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно» (VI, 116). Отсюда призывы Герцена уйти в самого себя: «Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости»; отсюда его завет: «вместо того, чтоб спасти мир, спасти себя, вместо того, чтоб освободить человечество, себя освободить» — для того, чтоб в конечном счете спасти мир и освободить человечество (VI, 119).

Нет, Герцен не становится после событий 1848—1849 гг. противником революции, как об этом иногда пишут. Он становится *принципиальным противником революции прежнего, буржуазного типа*, когда массы слепо участвуют в политическом перевороте, составляя лишь его «материал», играя роль своеобразного тарана, посредством которого новые кланы будущих угнетателей народа добывали себе государственную власть. По убеждению Герцена, до сих пор «массы не были вовлечены по-настоящему в движение, они колыхались, как колышется нива от ветра, склоняясь то в одну, то в другую сторону, но не оставляя своей почвы» (XII, 472). Подлинная же революция, революция во имя социализма должна быть делом самого народа, знающего и понимающего, за что он борется. В статье, так и названной — «Мясо освобождения», Герцен обрушивается на тех доктринеров от революции, которые, желая дать свободу народу, обращаются с ним «как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения (. . .) вроде



ВОССТАНИЕ (ИЮНЬ 1848 ГОДА В ПАРИЖЕ)

Картина О. Домье (масло), 1848

Duncan Philipps Memorial, Вашингтон

наполеоновского пушечного мяса» (XVI, 28). «Метода *просвещений и освобождений*, придуманных за спиною народа и втесняющих ему *его неотъемлемые права и его благосостояние* топором и кнутом, — пишет Герцен, — исчерпана Петром I и французским террором» (XVI, 27).

Буржуазные авторы — от П. Струве и С. Булгакова до И. Берлина, тенденциозно отождествляющие заговор, бунт, кровавый террор, насилие с революцией вообще, — без конца упражнялись и сейчас еще упражняются на тему о превращении Герцена после «педагогического» 1848 г. (XXIII, 136) из «любownika» революции в ее заклятого врага. Это неправда, ибо врагами, действительными, а не мнимыми врагами, Герцена были, помимо откровенных реакционеров и столь ненавистных ему буржуазных контрреволюционеров, рядящихся в либеральные тоги, крайне вредные для народных судеб и интересов революционные демагоги, авантюристы и политические экстремисты. В период революции 1848—1849 гг. да и после нее Герцен мог наблюдать их в немалом количестве. Он был убежден, что их безответственные призывы к революции, которая еще не созрела, приведут «не к делу, а к крови» (XX, 554—555).

Вспомним, как горячо спорил Герцен с теми, кто не видел, не желал видеть, что эпоха буржуазных революций в Европе кончилась, а к социализму Запад еще очень нескоро придет, что нельзя бездумно играть с революционным огнем. Вот, вернувшись однажды, в августе 1848 г., поздно ночью домой, Герцен застаёт у себя одного своего приятеля — республиканца Ж. Б. Боке, только что освобожденного из тюремного заключения. «Мечь, мечь! т. е. вымечь буржуази» — так характеризует Герцен неумемное стремление Боке, уговаривающего его не уезжать из Парижа. «Он удерживает меня обещанием, что они так заткнут за пояс Июньские дни, такой зададут праздник, что от бульваров следа не останется. Шутки в сторону. Страшные вещи могут быть. А выйдет ли прок, кроме расчистки места?» (XXIII, 101—102).

«Сколько мне приходилось спорить с друзьями! — скажет в другом месте Герцен. — Они не хотели видеть, что произошло, они требовали, чтоб я делил их упования» (V, 199). С какой

страстью уверял Герцена тот же Боке, что когда во Франции вновь начнется революция — а она вот-вот начнется! — то террор будет всеокрушающим. «Я его просил на всякий случай заготовить мне свидетельство, что я уже расстрелян. Он меня обнадежил пресурьезно, что будут списки и что он, когда нужно, скажет... премилейший, я на нем изучаю всех этих сильных резателей 93 года <...> На днях я чуть с ним не поссорился до драки, уверяя его, что когда они одолеют, то еще хуже будет и что я тотчас уеду» (XXIII, 114).

Летом — осенью 1849 г. в Женеве Герцен несколько раз встречается с Маццини. Он видит в нем величайшего политического человека «из всех существующих в наше время». Но... «Я с ужасом за него видел, что в споре со мной он отворачивался от некоторых истин и, следовательно, касался тех страшных пределов, за которыми и он — ретроградный человек...», — отмечал Герцен (XXIII, 188).

Громадную опасность усматривал Герцен во внешне привлекательной «риторике на революционные тексты» (X, 64), и потому так жестко обличал он всех ее носителей.

С мужественной решительностью отказывается в 1850 г. Герцен от участия в Европейском центральном демократическом комитете, предполагаемой целью которого было форсирование новой революции: «Я требую, я проповедую, — отвечал он на предложение Маццини, — полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов несет реакцией» (XXIV, 142).

И пять лет спустя — по поводу обращения Кошута, Ледрю-Роллена и Маццини ко всем республиканцам Европы с призывом к революционным действиям — Герцен напишет: «Может быть, я ошибаюсь, но это кажется мне веским доказательством того, что почва колеблется у них под ногами. А обстоятельства чреватые серьезными последствиями...» (XXV, 303).

Герцен не верит в осуществление революции посредством заговоров, «карбонаризма», считая, что «политическая литургия священнослужителей конспираций, как и церковная литургия, — одно драматическое представление» (XVI, 143)²⁰.

Отмеченный нами выше призыв Герцена «себя освободить» (VI, 119) имел, помимо всего прочего, тот смысл, что людям, претендующим на роль освободителей, благодетелей человечества, надо бы в первую очередь освободить себя от всех призрачных, хотя и очень сильных, революционных иллюзий, принявших вид прочных догматических предрассудков.

Да, политического чутья у Герцена хватало. Он видел, что «время революционной демагогии прошло» (XXVI, 193). Признав несовершенство, несостоятельность имевшихся налицо теорий освобождения, он оказался последовательнее и смелее многих тогдашних демократов.

Отдавая должное суровому, трагическому типу «Дон-Кихотов революции», этих великих, святых безумцев, «фанатиков земной религии» (XVI, 151), продолжающих и в условиях отлива революционной волны, когда массы не способны на активное социальное действие, непоколебимо верить «в осуществимость гармонического порядка, общего блаженства, в осуществимость истины, потому что она истина» (XVI, 153), Герцен вместе с тем зло высмеивал «хористов революции» — тех людей, которые «в смутные времена общественных пересозданий» с детства вживаются «в среду политического раздражения» — и живут этим. «Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле, так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции» (X, 45). Этот слой, отмечает Герцен, состоит из людей с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. «Легкость, с которой, и то только по-видимому, всплывают знаменитости в революционные времена, поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы <...> Само собой разумеется, — продолжает Герцен, — что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех делателях и двигателях событий, кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той накипевшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравится Петрушке Чичикова или как шагистика — Николаю» (X, 46, 48).

В этой связи Герцен поднимает в своих произведениях проблему громадной теоретической и практической важности — проблему зависимости характера грядущего социального переворота от нравственности, моральных качеств осуществляющих его людей. «Грядущая революция, — считает Герцен, — должна начать не только с вечного вопроса собственности и граждан-

ского устройства, а с нравственности человека, в груди которого она должна убить монархический и христианский принцип; все отношения людей между собою ложны, все текут из начала власти, все требуют жертвы, все основаны на вымышленных добродетелях, обязанностях... Конец политических революций и восхождение нового миросозерцания — вот что мы должны проповедовать» (XIII, 188).

IX

Сделав из поражения пролетариата в июне 1848 г. вывод об обреченности и даже вредности неподготовленных, преждевременных выступлений, Герцен ищет наиболее безболезненные пути революционного преобразования. Напомним еще раз его слова: «Июньская кровь взошла у меня в мозг и нервы, я с тех пор воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности» (XIV, 243). Герценовское отречение от «кровавого прогресса» (XIII, 276) — стремление отделить революцию как процесс глубоко творческий и в конечном счете гуманный от тех исторических «кровавых» форм, которые она до сих пор с необходимостью принимала и которые, по мнению Герцена, она вовсе не обязательно должна воспроизводить в дальнейшем.

Уликая революционную несостоятельность «западных авторитетов», раскрывшуюся ему в 1848 г., отмежевываясь от «свирипой веры» в то, что путь к освобождению непременно должен пройти через «крещение кровью», Герцен многократно развивает в своих произведениях мысль о предпочтительности мирного пути революции перед кровавым. Он считает, что нет никакой роковой необходимости в том, чтобы каждый шаг вперед для народа был отмечен горами трупов. В статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859) Герцен заявляет: «Мы не западные люди, мы не верим, что народы не могут идти вперед иначе, как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было» (XIV, 186).

Иногда эти и подобные им высказывания Герцена интерпретируются как его сомнения в целесообразности революции. Это неправильно. Герцен сомневался в целесообразности лишь «кровавых революций, связанных с разгулом «топора» — символа разбушевавшейся народной стихии.

Анализируя творчество Герцена, мы иногда сливаем в одно такие и на самом деле тесно связанные друг с другом, но все же далеко не совпадающие компоненты его мировоззрения, как идея бескровной, мирной революции, общедемократические, просветительские иллюзии, колебания в сторону либерализма. Вряд ли их отождествление или подмена друг другом правомерны.

В самой по себе теоретической постановке вопроса о возможности и предпочтительности мирного пути революции еще нет никакого либерализма. Проблема мирной социальной революции — в противоположность кровавым политическим революциям буржуазного типа — волновала уже в начале XIX столетия таких мыслителей, как Сен-Симон и Фурье. Полвека спустя Герцен настойчиво продолжает начатый ими поиск аргументов в пользу бескровной революции; причем он ищет эти аргументы не только в сфере теории, но и в самой действительности.

В частности, в статье «Революция в России» (1857) он пишет: «Мы так привыкли видеть с 1789, что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя, — что невольно ищем, когда речь идет о перевороте, площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба — одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное. В то время, как Франция с 1789 года шла огнедышащим путем катаклизмов и потрясений, двигаясь вперед, отступая назад, метаясь в судорожных кризисах и кровавых реакциях, Англия совершала свои огромные перемены и дома, и в Ирландии, и в колониях с обычным флегматическим покоем и в совершенной тишине (. . .) Одно из будущих министерств вступит в сделку с чартистами и даст интересам работников голос и представительство.

На наших глазах переродился Пиэмонт. В конце 1847 года управление его было иезуитское и инквизиторское... Прошло десять лет, и Пиэмонт нельзя узнать... а ведь эта революция была без малейших толчков, для этой перемены достаточно было одной несчастной войны и ряда уступок общественному мнению со стороны правительства» (XIII, 21—22).

Вряд ли справедливо видеть в этих словах Герцена всего лишь проявление «либеральной апелляции к верхам». Главный смысл их в ином.

Известно, что вопрос о мирном завоевании власти пролетариатом в Англии ставили чартисты. Маркс и Энгельс, не раз писавшие о желательности уничтожения строя эксплуатации и господства частной собственности на средства производства мирным путем, в свою очередь, при-

знавали возможность бескровной революции в Англии, где бюрократический государственный аппарат был еще относительно слаб. Герцен, как видим, также пытается опереться на факты современной ему западноевропейской жизни, чтобы в полемике с «артистами-революционерами», не желающими и думать о неизбежных — и немалых! — издержках борьбы посредством «топора», подкрепить идею возможности «пути мирного, человеческого развития» к социализму.

Признаем: Герцен не был строг и точен в употреблении понятий, временами излишне сблизив «революцию» и «прогресс». Он не вполне понимал, что и реформы Р. Пиля в Англии 1840-х годов, и реформы К. Б. Кавура в Италии 1850-х годов были произведены все же в интересах буржуазии, что эти реформы явились косвенным, побочным продуктом предшествовавших им революционных движений. Мысля мирный путь революции как вынужденную уступку со стороны правительства народному мнению, требованиям масс, Герцен еще очень далек от представления о том реальном соотношении общественных сил, которое могло бы обеспечить развитие социалистической революции по пути без крови и баррикад. Признаем и то, что Герцен неправомерно переносил опыт Англии середины XIX в., где относительно слабому буржуазному государственному аппарату противостояло развитое демократическое движение, на почву России, где, как писал сам Герцен, самодержавие деспотически царило «среди всеобщего молчания и подавленных стонов». И то, что для некоторых стран Европы было лозунгом демократии, в России неизбежно оказывалось проповедью либеральных надежд на «революцию сверху».

На все это не основание для того, чтобы не увидеть за отдельными терминологическими неточностями, невольными заблуждениями, наивными иллюзиями, мало реальными надеждами и ошибочными тактическими шагами Герцена, неоднократно предлагавшего в своих печатных обращениях к Александру II возглавить социальную революцию в России, не увидеть за всем этим постановку русским мыслителем важнейшей проблемы революционной теории — проблемы мирного пути к социализму.

X

Много и по разным поводам писал Герцен об умирании «западного старика», об «агонии», «смерти» Европы, о своем разочаровании в ней. В этих словах его — констатация отлива революционной волны на Западе, роста политической и идейной реакции, острое неприятие все шире распространяющегося, нивелирующего личность, захватывающего даже пролетарские слои духа «мещанства», буржуазного образа жизни²¹.

Было бы, однако, ошибкой абсолютизировать герценовскую «борьбу с Западом» (выражение Н. Н. Стрехова) после событий 1848 г., буквально понимать его слова о «мещанстве» как «окончательной форме» западной цивилизации (XVI, 183), об «умирании» Европы. Ведь и сам он хорошо видел и трезво понимал: *Запад живет*, ибо жива великая европейская культура, живы и творят люди, ее олицетворяющие, живут и действуют преданные делу народного освобождения политические деятели.

На протяжении двух десятков лет, ни на миг не порывая духовных связей с родиной, пробуждая ее своим вольным словом от многовекового сна, воспитывая новые поколения русских революционеров, Герцен вместе с тем постоянно находится в гуще западноевропейской духовной и политической жизни. Служа «на пользу России словом и делом» (XXIV, 186), Герцен «служил» словом и делом своим также и Западу.

Владение немецким и французским языками, живой темперамент, редчайший талант сходить с людьми — все это немало способствовало установлению тесных, порой дружеских, связей Герцена со многими западными деятелями. Уже в 1847—1849 гг. он вступает в более или менее тесные отношения с Г. Гервегом, П. Ж. Прудоном, К. Фогтом, Ф. Каппом, Дж. Маццини, Ю. Фрëбелем, Л. Бамбергером, М. Гартманом, А. Саффи, Ф. Орсини... Герцен следит за судебным процессом над О. Бланки и его товарищами, участвует в газете Прудона «*Voix du Peuple*».

И, когда наступила реакция, Герцен закономерно оказался не только активным элементом интеллектуальной, культурной жизни Европы, но и естественным членом демократической эмиграции. Характерно, что именно к Герцену обратился в 1849 г. Маццини с просьбой содействовать созданию европейской революционной партии: «У вас есть знакомые в Германии — начните их объединять»²² (Л V, 363—365).

Продолжая чутко наблюдать за развитием европейской социально-политической жизни, изучать и сопоставлять исторический опыт развития различных стран, Герцен внимателен и к движению ирландских борцов за независимость — фениев, и к деятельности английских чар-

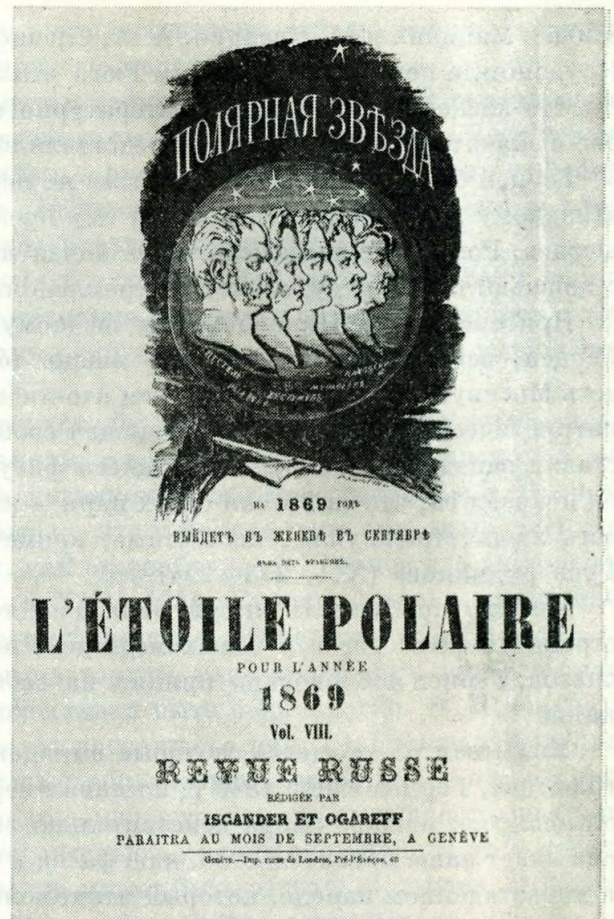
тистов. Он поддерживает долготлетнюю борьбу поляков за самостоятельность и горячо сочувствует национально-освободительной борьбе итальянцев под руководством Маццини и Гарибальди. Следит Герцен и за событиями в Германии, и за английской политической жизнью.

Живя в Англии, Герцен встречается с В. Линтоном, Л. Кошутом и С. Ворцелем, Л. Бланом и Э. Джонсом, беседует с Р. Оуэном, посещает Т. Карлейля, А. Руге, активно переписывается с Ж. Мишле, знакомится с Ф. Фрейлигратом, Л. Пьянчани. В доме Герцена мы видим Дж. Гарибальди, деятельность которого он очень высоко оценивал, Дж. Маццини, Ж. Доманже, К. Шурца, Г. Мюллера-Стрюбинга, А. Барбеса... Герцен не раз и не два ссужает деньги на нужды революционеров, материально поддерживает некоторые демократические акции. Он участвует в международных сходках и митингах (29 ноября 1853 г., 27 февраля 1855 г. и др.), душою болея за общедемократическое движение в Европе в целом и в отдельных странах и не останавливаясь перед острым спором и даже полным разрывом в тех случаях, когда сталкивается с игрой в революцию либо, напротив, с либерально-консервативным извращением освободительных идей. Герцен сотрудничает в демократических печатных органах, издававшихся в Англии, Франции, Италии...

Анализ различных форм социальных движений, сопоставление их с историческим опытом, в особенности с опытом революций 1848—1849 гг., изучение сочинений, публичных заявлений и поступков современных ему политических деятелей — все это позволило Герцену дать правильную характеристику многим выступлениям, их руководителям и участникам. Так, к примеру, правильно считая, что задача национального освобождения может быть последовательно решена только в том случае, если она непосредственно связана с программой радикальных социальных преобразований, Герцен указывал на «пустоту» демократической мысли у одного из лидеров итальянского освободительного движения — Маццини: «Что делать, восстановивши независимость своего народа?» (XVI, 145). Этот вопрос Герцена выражал требование углублять борьбу народа за национальную свободу до борьбы за свободу социальную. Возможность смотреть на политическую борьбу с такой высокой позиции давала Герцену его непоколебимая приверженность идеям социализма; она же позволяла ему критиковать националистические моменты в деятельности отдельных польских и немецких демократов. Мистицизму и мессианизму Ворцеля и социально-религиозным иллюзиям Маццини Герцен противопоставлял «специализм» венгерского демократа Л. Кошута, который «очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон; что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным» (XI, 25).

Отношения Герцена с революционерами Запада — это постоянный диалог, диспут, полемика, в ходе которой не только корректировалась идейно-политическая позиция самого русского мыслителя, но и осуществлялось его воздействие на воззрения некоторых политических деятелей стран Европы. Так, несомненное влияние идеи Герцена оказали на таких, например, представителей левого крыла итальянской демократии, как Пизакане и Пьянчани.

Значительна, хотя еще и плохо изучена роль Герцена как посредника между русскими и западноевропейскими демократами, деятелями отечественной и западноевропейской литературы и искусства. Упомянем хотя бы о рекомендательных письмах к Прудону и И. Лелевелю, которыми Герцен снабдил Л. Н. Толстого, о его посредничестве при знакомстве Н. А. Серно-Соловь-



**ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ
«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ НА 1869 ГОД»**

Напечатано во французском продолжении
«Колокола»

«Kolokol», 1 апреля 1868 г., Женева

евича с Маццини и М. Квадрио, А. А. Слепцова с Маццини, Н. В. Соколова и Ю. Ф. Самарина с Прудоном, о пересылке Герценом Гюго стихотворений П. Л. Лаврова...

Что касается собственного литературного творчества Герцена конца 1840—1860-х годов, то оно в значительной своей части представляло собой составной элемент жизни Западной Европы.

Герцен был одним из первых, если не первым русским публицистом и художником, давшим западному миру образ неизвестной ему прежде России — России декабристов, России петрашевцев, России Чернышевского. Он начал великое дело ознакомления западной интеллигенции с жизнью, бытом и духовными устремлениями русского крепостного крестьянства.

Приговоренный Николаем I к «вечному изгнанию за пределы Российского государства», Герцен, всю свою эмигрантскую жизнь только и мечтавший вновь «рано или поздно увидеть Москву» (XXV, 297), более чем кто-либо иной в его время осуществлял на Западе великую патриотическую миссию — он защищал свой народ от обвинений в рабском характере, он представил западной публике выдающиеся фигуры деятелей русской культуры и общественности; он показал ей, что «в России сверх царя — есть народ; сверх люда казенного, притесняющего — есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца — есть Русь крепостная, Русь рудников» (XII, 253—254).

Миссию пробуждать людей Запада от тех страшных снов, в которых Россия виделась им страной белых снегов и белых медведей, поголовного рабства и всемогущих императоров-деспотов, Герцен добровольно принял на себя уже в самом начале своего пребывания за границей.

Указывая на те «дела», которые выпадают на долю русских, находящихся, остающихся за границей, Герцен еще в 1849 г. поставил перед собой задачу, выполнять которую он будет всю оставшуюся жизнь: «Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего (. . .) Расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой природы под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся» (VI, 17—18).

Многие из произведений Герцена, обращенных непосредственно к западноевропейскому читателю (среди них такие значительные, как «С того берега» и «О развитии революционных идей в России»), встретили у него горячий, хотя и далеко не однозначный, отклик.

Некоторые представители западной интеллигенции, высоко оценив художественно-публицистическое творчество Герцена, не могли не признать, что он олицетворяет собой тип писателя-мыслителя, какого Европа тогда не знала, что его произведения прокладывают пути небывалой прежде интернациональной демократической культуре. Так, в рецензии на французский перевод «Былого и дум», появившейся в лондонской газете «Leader», отмечавшей «свежесть эмоций» и «проникновенность (. . .) философского мышления» автора, говорилось: «Гете мог бы усмотреть в нем яркое подтверждение теории грядущей универсальной литературы (. . .) все, что он делает и создает для России, в то же время становится достоянием остальной Европы (. . .) и вся Европа с большим интересом и сочувствием смотрит на все возрастающую энергию его деятельности»²³. Во всяком случае заслуги Герцена-писателя признавались многими деятелями западной культуры. «Герцен стоит во главе русской демократической литературы, — считал английский поэт и публицист, лидер чартистов Э. И. Джонс, — он является самым выдающимся из эмигрантов его страны, а как таковой — и представителем ее пролетарских миллионов» (XI, 420). «Это наблюдатель, — писал о Герцене в 1866 г. француз Ш. дю Бузе, — полный беспощадной прозорливости, и виденное он рассказывает с энергичной сдержанностью, скрывая презрение и умеряя гнев (. . .). Только русские в силах определить его место в ряду их писателей. Быть может, они скажут, что в наши дни Александр Герцен является наиболее оригинальным умом и первым писателем России»²⁴.

Гюго, Мишле, Кине — да только ли они? — любили Герцена, верили ему, высоко ценили его острое слово, глубокую мысль... Другие, те, что с *другого* берега, — ненавидели... А с какой дикой остервенелостью набрасывался на Герцена, к примеру, К. Гейнцен, этот, по отзыву Гер-

цена, «Собакевич немецкой революции», считавший, что «достаточно *избить два миллиона человек на земном шаре* — и дело революции пойдет как по маслу» (X, 60).

Правда, многим западным читателям и рецензентам герценовских сочинений оказалось не под силу понять существо его мировоззрения, определить своеобразие его таланта. Чего только ни усматривали в его работах: и путаницу, внесенную в русские мозги чтением Руге и Фейербаха, и проповедь философии отчаяния, и отказ от революции, и неуважение к народу, и классическое выражение «литературы крушения», и своеобразный руссоизм...

Но как бы то ни было, сочинения Герцена выступали в эпоху после революции 1848 г. одним из сильных факторов формирования общественного сознания западного читателя (недаром столь часто запрещались они к распространению в Германии и других странах), одним из выражений духовной жизни, но отнюдь не «смерти» Европы.

Да Герцен и сам не верил в эту «смерть» — потому хотя бы, что всегда признавал живой идею социализма как вершину западного развития (вспомним, с каким интересом относился он к великим социалистам Запада, как счастлив был лично познакомиться и побеседовать с Р. Оуэном, два дня провести вместе с О. Бланки). Даже утверждая, что у Запада мало сил, мало энергии, что «Запад вовсе не так дьявольски революционен, как он воображает», Герцен тут же подчеркивал: «У него есть великая мысль, великий идеал...» (XXV, 184). «Европа, умирая, завещает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм» (XXIII, 111).

«Разочарование» Герцена в Западе не означало, повторяем, разочарования в социалистическом идеале, отказа от него: Герцен никогда не переставал быть социалистом. В «Письмах к противнику», настаивая на этом («Социалист я не со вчерашнего дня...»), Герцен утверждал: «...я решительно не вижу выхода из всеобщего импаса * образованного мира, кроме старческого обмиранья или социального переворота — крутого или идущего исподволь, нарастающего из жизни народной или вносимого в нее теоретической мыслью — все равно. Вопрос этот нельзя обойти, он не может ни устареть, ни сойти с чреды, он может быть оттерт, заставлен другими, но он тут, как скрытая болезнь, и если он не постучится в дверь, когда всего меньше думают, то постучится смерть» (XVIII, 277).

Оценивая революционные потенции Запада без всяких преувеличенных ожиданий и надежд («Рыбак, глядящий на безоблачное небо во время безветрия, почти наверное будет прав, предполагая, что *через час* не будет бури. Я только этого права и добиваюсь в рассматривании современной истории» — XVI, 174), Герцен больше всего был озабочен тем, как сделать социалистический идеал, это «новое начало», которое не дает покоя «миру современной цивилизации» (XVI, 175), более сильным. Вот характерные в этом отношении слова из его письма В. С. Печерину: «Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер — казармой; нет, все доселе явившиеся учения и школы социалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание, — бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и эссенциане древнего Востока. Но кто же не видит, не чувствует сердцем огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?» (XXV, 54).

Поиски путей и средств осуществления социализма в условиях отлива революционной волны на Западе и привели Герцена к концепции «русского» социализма.

XI

Учение Герцена о так называемом «русском» социализме достаточно хорошо известно.

Отодвигая установление социалистического общества в Западной Европе в неопределенно далекое будущее, Герцен полагал, что «если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны» (VI, 190). Некоторое время страной, готовой к этому движению, Герцен считал Соединенные Штаты Америки. Он думал, что в этой молодой, энергичной стране скорее, чем в Европе, соберутся силы, которые осуществят социализм. Правда, уже в 1849 г. Герцен сочувственно цитировал слова американского фурьериста А. Брисбейна о том, что политическая республика Соединенных Штатов чужда интересам работников, что «она бессильна осуществить то общественное состояние, к которому стремится современный человек» (V, 184). Герцен видел значительное развитие в Соединенных Штатах Америки демократических свобод, принципа «индивидуальной независимости», однако писал: «Как Америка

* тушика (франц.).

будет относиться к социальным стремлениям — трудно сказать; дух товарищества, ассоциации, предприятий сообща чрезвычайно в ней развит; но ни общего владения, ни нашей артели, ни сельской общины нет; личность соединяется с другими только на известное дело, вне которого ревниво отстаивает полнейшую независимость» (XII, 429, см. также с. 351). Страну, в наибольшей степени способную к социальному преобразованию, Герцен нашел, обратившись мыслью к Родине.

Как есть две Европы — Европа буржуа и Европа работников, утверждал Герцен, так есть и две России: Россия правительственная, императорская, помещичья, солдафонская, играющая роль преграды на пути человечества, и Россия «черного народа», бедная, хлебопашенная, крестьянская. Народ не ответствен за действия правительства.

Да, русские значительно отстали от Европы. Но в этой «молодости» русского народа, не отягощенного, как западные народы, вековыми традициями исторической жизни, и счастье его. Не затронутый ни политическими движениями, ни европейской цивилизацией, задавленный и забытый, русский народ сохранил, однако, свою могучую душу, свой великий национальный характер, особенностью которого является естественное, безотчетное сочувствие коммунизму. Этот коммунистический дух русского народа выражен в его сельской, крестьянской общине. «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрапанных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дожила до развития социализма в Европе» (VII, 323).

Что же социалистического нашел Герцен в общине? Демократизм или «коммунизм» (т. е. коллективность) в управлении жизнью сельской артели: крестьяне на своих сходах, «на миру», решают общие дела деревни, выбирают мировых судей, старосту, который не может поступить вразрез с волей «мира». Это общее управление бытом связано с тем, что люди «владеют» землей сообща. Они вместе ее обрабатывают, совместно используют луга, пастбища, леса. Такое общинное владение представлялось Герцену зародышем коллективной собственности. Наконец, элемент социализма Герцен видел также в крестьянском праве на землю, т. е. в праве каждого крестьянина на надел земли, который община должна предоставить ему в пользование. Это право, по мнению Герцена, исключает возникновение в России безземельного пролетариата (см. XIV, 182—183).

Одним словом, в патриархальной общине (сохранившейся, кроме русского, также у некоторых других славянских народов), Герцен усмотрел средство радикального общественного преобразования, реальный элемент социализма: «В избе русского крестьянина мы обрели зародыш экономических и административных установлений, основанных на общности землевладения, на аграрном и инстинктивном коммунизме» (XIII, 179).

Подчеркивая вместе с тем негативные стороны крестьянской общины, где лицо поглощается «миром», говоря о том, что «всякий неразвитой коммунизм подавляет отдельное лицо» (XII, 109), Герцен выдвигал в качестве важнейшего органического компонента своей концепции «русского» социализма положение о необходимости «оплодотворения» крестьянского русского «мира» западной наукой, т. е., собственно говоря, социалистической идеей. «Исторические формы западной жизни в одно и то же время, будучи несравненно выше политического устройства России, не соответствуют больше современной нужде, современному пониманию. Это понимание развилось на Западе; но с той минуты, как оно было сознано и высказано, оно сделалось общечеловеческим достоянием всех понимающих» (XIV, 175). А значит, и русских тоже. Без развития посредством науки Запада русский «аграрный коммунизм», пребывающий как бы в подпочве истории, останется грубым, подавляющим личность, совпадающим по своим основным принципам с тем, который проповедовался западными уравнивателями вроде Гракха Бабефа.

Но это вовсе и не социализм, ибо не может быть социализма, не основанного на свободе личности. «Задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плукая по неизвестным путям, развитие Запада. Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтоб у свободной личности земля осталась под ногами и чтобы общинник был совершенно свободное лицо» (XIV, 183).

Россия, между прочим, потому и может от общины — минуя некоторые «фазы европейского развития» (VI, 205; XII, 186; XIV, 170, 176) — перейти к социализму, что ее передовые люди, «прошедшие через западную цивилизацию» и усвоившие революционные и социалистические

теории Запада, как бы впитали в себя мировой исторический опыт. «Россия проделала свою революционную эмбриогению в европейской школе (. . .) Мы сослужили народу эту службу», — говорил Герцен (XII, 186).

Таким образом, «русский» социализм Герцена отнюдь не был идеализацией крестьянской общины и вовсе не представлял собой какого-то поворота от западничества к славянофильству или русофильству; он явился выражением (в тех условиях, разумеется, иллюзорным, утопическим) смелого теоретического поиска — поиска варианта ускоренного движения России к социалистическому переустройству при посредстве духовного опыта стран Западной Европы, воплощенного, по мнению Герцена, в ее социалистической науке — важнейшем «движимом достоянии» западной жизни.

Подчеркивая, что задача социализма еще далека от своего практического решения на Западе и что русская община сама по себе ее также не решает и решить не может, сближая российских крестьян с бедными европейскими работниками, Герцен говорил, обращаясь к западным демократам: «Мы идем вам навстречу в будущем перевороте (. . .) Ваши усилия, ваши страдания — для нас поучения (. . .) Царства и цари пройдут, но социализм не пройдет. Разве вы не узнаете — это юный наследник отходящего старца!» (XII, 263—264).

Но не будем упрощать взглядов Герцена, сглаживать, скрадывать противоречия его учения о «русском» социализме. В истории домарксистской общественной мысли вообще, социальной философии в частности не раз наблюдались случаи, когда содержание той или иной теории выражалось в неадекватной ему, этому содержанию, форме. И уж тем более исключительно редким было правильное представление теоретика о подлинной сути и действительном значении выдвигаемых им идей. При этом, как однажды метко выразился Маркс (в связи с оценкой в «Капитале» воззрений французского экономиста XVIII в. Ф. Кенэ), предлагаемая тем или иным ученым, теоретиком самохарактеристика его собственных взглядов — Маркс называет ее «вывеской», «этикеткой системы» — «отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что обманывает не только покупателя, но часто и продавца»²⁵. Эти слова в известном смысле могут быть отнесены и к Герцену.

В. И. Ленин показал, что по сущности своей «русский», народнический социализм Герцена был отражением и выражением «революционности буржуазной крестьянской демократии в России» и потому в нем, как и во всем народничестве, «нет ни грана социализма»²⁶, ибо «для марксиста крестьянское движение есть именно не социалистическое, а демократическое движение»²⁷. Иначе говоря, «социализм» Герцена (и тут мы вслед за В. И. Лениным берем слово «социализм» в кавычки) представлял собой неадекватную теоретическую форму классово определенных устремлений (как, впрочем, и любая иная форма утопического социализма). Но это только одна сторона дела.

Другая состоит в том, насколько верным являлось данное Герценом определение этого социализма как «русского»: не было ли и в данном случае такой «этикетки системы взглядов», которая «обманывала» не только читателей и истолкователей Герцена (как сторонников его, так и противников), но и его самого? Не впадал ли сам Герцен в преувеличение, во власть иллюзии, когда писал, к примеру, следующим образом: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели» (V, 10)?! Или во фразе о том, что «человек будущего в России мужик, точно так же, как во Франции работник» (VII, 326)?!

Революционеры, ученые, писатели Запада, шокированные идеей Герцена о возможной авангардной роли России на путях человечества к социализму, зачастую называли его «русифилом», «мессианистом», «панславистом». Вопреки этому «русский» социализм Герцена не дает оснований для истолкования его взглядов в духе панславизма или национализма. Наверное, нелишне привести здесь характеристику, данную Герценом славянофилам, с которыми его то и дело чрезмерно сближали: «Поклонники старины, *назло* петровским порядкам, истые националисты, *преднамеренные* православные, они с неблагодарностью забыли, что им дала единоспасающая цивилизация Запада, при свете которой они нашли свой клад в земле и разглядели его» (XIX, 187).

Совсем другое дело, что Герцен не был безразличен к идее авангардной роли того или иного народа в тот или иной исторический отрезок времени. Сама постановка вопроса о «русском» социализме да и предшествовавшие его появлению, обращенные к самому себе вопросы первой половины 1840-х годов (вспомним: «Может, мы?..») предполагали эту идею.

Но разве сама по себе эта идея так уж порочна? И не имеет ли она в виду — не вообще,

а именно в герценовской ее интерпретации — степень освоения данным, «авангардным» народом мировой культуры? Не жаждал ли Герцен, выдвигая ее, наибольшей безболезненности при осуществлении прогресса? Смягчения мук родов социализма?

«Русский» социализм Герцена не означал ни отрицания иных путей к социализму, ни абсолютизации возможного, по его убеждению, русского варианта этого движения. Последний понимался лишь как *одна из возможностей* исторического движения к будущему.

Ничего иного и не означал вопрос Герцена о том, следует ли России «пройти всеми фазами западной жизни для того, чтобы дойти в поте лица, с подгибающимися коленами через реки крови до того же выхода, до той же идеи будущего устройства и невозможности современных форм, до которых дошла Европа?» (XIV, 176). Ничего иного и не могло означать его утверждение: «Мы представляем *частный случай* нового экономического устройства, новой гражданственности, *одно из приложений*» (XVIII, 357). Не случайно, обращаясь к Э. Кине, Герцен заявлял: «Мы шли за вами, пути наши пересеклись, и мы снова пойдем не по одной дороге — *вы пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе*» (XVIII, 469). С этим вполне согласуется его давнишнее и постоянное (с конца 1840-х годов, когда он отказался от идеи «исторической алгебры») убеждение: «Социальные идеи, в своем воплощении, будут обладать многообразием форм и применений...» (XX, 65—66).

К тому же, как оказалось, «русский» социализм отнюдь не ликвидировал духовной драмы Герцена: чем дальше, тем все больше сознавалось им единство, идентичность путей Родины и Европы. Не переставая настаивать на том, что общий план развития истории допускает бесконечное число непредвиденных вариаций, Герцен уже в 1863 г. пишет, что «мещанство» может быть для России «переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки». И, не считая «мещанство», т. е. буржуазный строй, окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится, он все больше склоняется к тому, что, «достигая» социализма, Россия, «вероятно, *пройдет* и мещанской полосой» (XVI, 196). «*Буржуазная оспа* теперь на череду в России < . . . » (XVIII, 371) — с горечью напишет Герцен несколько позже.

XII

Концепция революции и социализма, развитая Герценом на основе осмысления им опыта классовой борьбы в Западной Европе, не раз подвергалась критике со стороны его соотечественников, представителей самых разных идейно-политических течений, от крайне реакционных до ультрареволюционных. Нельзя не признать, что иногда в этой критике содержались резонные, справедливые замечания, хотя в большинстве случаев разнородные оппоненты Герцена ошибались, как представляется, куда больше и основательнее, чем он — в иных случаях.

Известно, что Герцен далеко не во всем сходилась в своих философско-исторических и социально-политических представлениях с другими деятелями русской революционной демократии XIX в.

Особо выделяется здесь относящийся к периоду 1859—1861 гг., многократно привлекавший внимание советских исследователей²⁸ острый спор Герцена с Чернышевским. Кто был прав в этом споре?

Во многом — Чернышевский, справедливо утверждавший, что, говоря о смерти «западных народов», Герцен утрачивал реальную перспективу социального процесса, упрекавший Герцена в непонимании того, что период политической реакции, порожденный поражением революции 1848 г., — это не только и не просто застой, но вместе с тем и время роста, вызревания новых революционных сил. «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить», — писал в полемике с Герценом Чернышевский в статье «О причинах падения Рима»²⁹.

Обратим, однако, внимание: Герцен отвел упреки Чернышевского в том, что он не чужд «коренной тенденции, из которой происходит славянофильство», проповедует идею «оживления», «обновления ветхой Европы < . . . > свежую помощью» России³⁰.

Когда спор между ними в общем-то подходил к концу, в листе 107 «Колокола» (1861) Герцен поместил статью «*Repetitio est mater studiorum*» — ответ на статью Чернышевского «О причинах падения Рима». В ней жестко обозначался тот предел, те границы, «за которыми, — пишет Герцен, — мы не отвечаем за нелепости, которые ставят на наш счет» (XV, 143). Примечательна концовка статьи:

«Я смело повторяю, что один факт общинного владения землею и передележа полей сам по себе оправдывает предположение, что наша не-возделанная почва, наш чернозем *способнее* для посева зерна, собранного с западных полей. Способнее по стихиям, из которых она состоит, способнее потому, что на ней меньше мусора и всякого рода развалин, чем на западных полях.

— Стало быть, Россия все-таки от Запада возьмет это оплодотворяющее зерно?

— Стало быть.

— Ну, где же тот новый элемент, который она вносит в жизнь устарелого Запада, долженствующий пересоздать его?

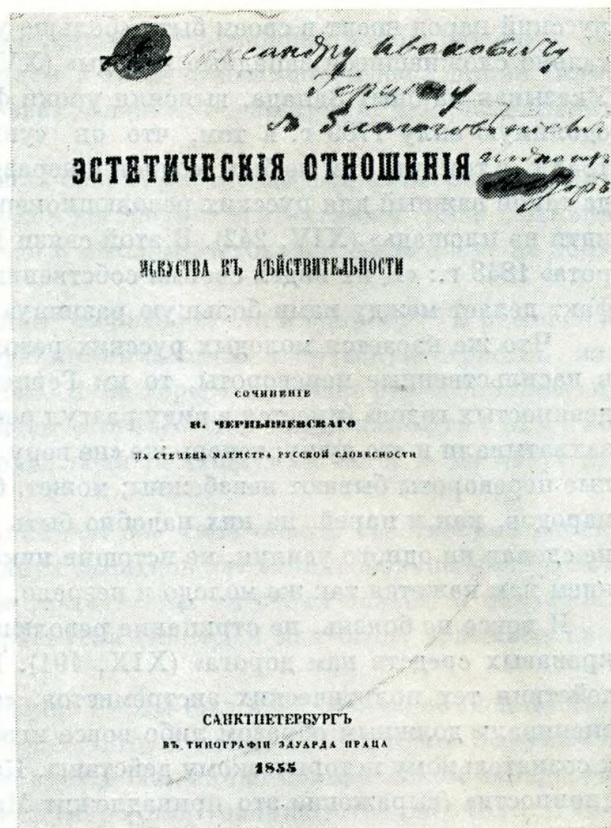
— На это пусть отвечают те, которые это говорят. Я этого никогда не говорил» (XV, 148—149).

В подтверждение этих слов Герцен приводит свое высказывание, относящееся к 1856 г.: «Одна могучая мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в нашем патриархальном быту. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой,— все это краугольные камни, на которых соизидется храмина нашего будущего свободнообщинного быта. Но эти краугольные камни все же камни... и без *западной мысли* наш будущий собор остался бы при одном фундаменте» (XV, 149; ср. IX, 149—150; XXX, 515).

Несомненно, что герценовская концепция «русского» социализма, как и его «западный» скептицизм, не оставалась без изменений. Время от времени, под воздействием новых исторических фактов, новых аргументов идейных противников и *неединомышленников* в философии истории издателя «Колокола» появлялись новые моменты, совершалась переакцентировка внутри ее теоретической структуры. А иногда Герцен прямо отказывался от прежних утверждений, признавая их несостоятельными. Но никогда не было в жизни Герцена периода, когда бы он вставал на платформу нигилистического отношения к Западу. Напротив: существо герценовской трактовки революции и ее возможных форм и путей осуществления в России в первую очередь определяется его глубоким проникновением в опыт общественно-политических движений Запада. И именно это во многом (были, конечно, и другие причины) определило своеобразие места Герцена внутри отечественного революционного лагеря 1860-х годов.

Вспомним его известное предисловие «От редакции» к «Письму из провинции» («Колокол», 1860). Обращаясь к «Русскому человеку», убеждавшему издателя «Колокола» звать Русь к топору, и замечая, что к топору он звать не будет *«до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора»* (XIV, 239), Герцен объяснял основы этой своей позиции следующим образом: «Чем глубже, чем дольше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие, и в ряд событий, который привел к нам Европу, тем больше растет у нас *отвращение от кровавых переворотов*; они бывают иногда необходимы, ими отделяется общественный организм от старых болезней, от удушающих наростов; они бывают роковым последствием вековых ошибок, наконец, делом мести, племенной ненависти,— у нас нет этих стихий; в этом отношении наше положение беспримерно» (XIV, 239).

Разумеется, Герцен заблуждался насчет «беспримерности» положения дел в России, как ошибался он и тогда, когда писал в 1864 г. в «Письмах к противнику», будто русский народ есть «преимущественно *социальный*, т. е. наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той *земной веси*, к которой стремятся все социальные учения», будто



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ГЕРЦЕНУ
НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ КНИГИ
«ЭСТЕТИЧЕСКІЕ ОТНОШЕНІЯ ИСКУССТВА
КЪ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» (СПб., 1855):
«Александрю Ивановичу Герцену с благоговением
подносит Авторъ»
Музей Герцена, Москва

русский народ носит в своем быту «больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы» (XVIII, 276—277, 278). Однако сейчас речь о другом. Указывая на опыт Запада, выясняя уроки французских революций, видя, в частности, непреодолимую силу 1789 г. в том, что он «увлек всех», а причину поражения революции 1848 г. в том, что там не было «одной и нераздельной» веры (XIV, 242—243), Герцен делал отсюда такой важный для русских революционеров вывод: «С полемикой в основном вопросе нельзя идти на площадь» (XIV, 242). В этой связи Герцен указывал на следствия «печального переворота» 1848 г.: «Я их видел своими собственными глазами, и, может быть, этот физиологический факт делает между нами большую разницу» (XIV, 243).

Что же касается молодых русских революционеров, упрекавших его в потере всякой веры в насильственные перевороты, то им Герцен отвечал: было время, когда «громовые раскаты девяностых годов» (имеется в виду разгул революционного террора во Франции конца XVIII в.) захватывали и его душу; теперь же «не веру в них мы потеряли, а любовь к ним. Насильственные перевороты бывают неизбежны; может, будут у нас; это отчаянное средство, *ultima ratio* * народов, как и царей, на них надобно быть готовым; но выкликать их в начале рабочего дня, не сделав ни одного усилия, не истощив никаких средств, останавливаться на них с предпочтением нам кажется так же молодо и незрело, как *нерасчетливо и вредно* пугать ими» (XVI, 221).

И вовсе не боязнь, не отрицание революции — во фразе Герцена: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога» (XIX, 191). В ней — неприятие Герценом образа мышления и действия тех политических экстремистов, «артистов-революционеров» (XIII, 22), которые не оценивали должным образом либо вовсе игнорировали фактор готовности масс к революции, к сознательному историческому действию. Категорический противник «революционной революционности» (выражение это принадлежит Марксу³¹), Герцен был сторонником *подлинной* революции, революции всерьез («Одни легкие революции делаются легко» — XII, 107), ибо он связывал с ней действительное, а не *мнимое* освобождение народа. Поэтому он и подчеркивал так сильно значение социальной зрелости, просвещенности масс, разработки революционной теории и других необходимых предварительных условий и компонентов грядущего социального переворота.

Нет, Герцен не отвергал «топор» в принципе. Но он лучше многих современных ему русских революционеров (и здесь он вполне сопоставим с Чернышевским³²) понимал: «Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится. Есть ли все это у вас?» (XIV, 243).

Эти слова Герцен написал 28 февраля 1860 г. Все дальнейшее развитие освободительного движения в России было как бы практическим ответом на поставленный им вопрос, трудным процессом создания требуемых им условий успеха революционной борьбы.

XIII

Уже под самый конец жизни Герцен вступает в острый спор с М. А. Бакуниным (и поддерживавшим его по ряду вопросов Огаревым). Обращенные непосредственно к Бакунину герценовские письма «К старому товарищу» — вершина его социально-революционной мысли.

Проблемы, которые Герцен рассматривает в этом произведении, в общем те же, что и в написанном восьмью годами ранее другом замечательном его сочинении — «Роберт Оуэн», введенном в «Былое и думы». Но истекшие годы не прошли даром. Мысль Герцена не просто стала глубже и точнее — произошла и определенная трансформация некоторых образов («акушера», «хирурга») в более строгие в научном отношении понятия. Да и адрес полемики изменился: там, в «Роберте Оуэне», Герцен спорит главным образом с Западом, с его социалистами и революционерами; здесь — с соотечественником, с человеком, представляющим революционную Россию. Отсюда изменение и общей тональности спора.

Очень примечательно, что личная нота, звучащая в обращении Герцена к Бакунину, включает как важнейший момент упоминание все о том же роковом 1848 г.

В самом начале произведения Герцен пишет: «Тяжелые испытания с 1848 раз но отозвались на нас. Ты больше остался, как был (< . . >), но ты был вдали — я стоял возле. Но если я изменился — то вспомни, что *изменилось все*» (XX, 575).

* последний довод (*лат.*).

И ближе к концу: «Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, — звал, даже не очень думая, чем она заменится.

С тех пор прошло двадцать лет.

Мечь пришла с другой стороны, мечь пришла сверху... Народы всё вынесли, *потому что ничего не понимали* ни тогда, ни после; середина вся растоптана и втоптана в грязь... Длинное, тяжелое время дало досуг страстям успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на обдумание и наблюдение.

Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разное стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти» (XX, 586).

Итак, Герцен сопоставляет, сравнивает, сталкивает два типа опыта: собственное наблюдение (на «досуге») изменявшейся на протяжении двух десятков лет западноевропейской действительности (точнее, опять-таки сопереживание ее драматизма: «я стоял возле») и бакунинское упорное игнорирование уроков исторического развития («остался как был», «рвешься вперед по-прежнему»).

Впрочем, Герцен не вполне прав: его объяснение — «ты был вдаль» — не объясняет все же сохранения у Бакунина «страсти разрушенья». Более того, в конце 1860-х годов Бакунин совсем не «вдаль», он деятельнейшим образом участвует в социально-политическом западноевропейском движении: в Лиге мира и свободы, в Международном товариществе рабочих... Так что ситуация вроде бы повторилась: опять, как и в 1848—1849 гг., Бакунин — участник, а Герцен — сторонний наблюдатель. Эта очевидная внешняя схожесть ситуаций лишь оттеняет тот факт, что мысль Герцена делает еще один виток. Но если его известная «духовная драма» была своеобразным идейным кризисом, порожденным только что происшедшей революцией, то теперешний новый поворот в его мировоззрении связан прежде всего с осмыслением послереволюционной истории Европы.

Конечно, в данном случае имело немаловажное значение то, что этот опыт пропускаться через «русское сито»: тут далеко не безразличны мысли и чувства Герцена, порожденные, в частности, «Молодой Россией», выстрелом Каракозова, покушением Березовского, столкновениями с новой, юной порослью русских революционных эмигрантов. Верно и то, что при осмыслении истекшего двадцатилетия Герцен постоянно обращался к многовековой истории Европы — в первую голову к переломным ее моментам, эпохам революций. Но все же именно наблюдение над западноевропейской жизнью 1849—1869 гг. приводит Герцена к твердому убеждению, что голое насилие, пусть даже самое что ни на есть «р-р-революционное», при отсутствии необходимых предпосылок социализма не может привести ни к чему хорошему...

То, что пишет Герцен в письмах «К старому товарищу», поразительно совпадает с тем, что писал по тем же вопросам Маркс — и в полемике с К. Шаппером и ему подобными «леваками», и в политико-экономических сочинениях, где настойчиво проповедовалась идея, что общество не может перескочить через необходимые ступени развития и в состоянии решать только такие задачи, которые история перед ним уже поставила, и в «Гражданской войне во Франции», и в направленной против Бакунина брошюре «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих», и в письмах (как и в набросках к ним) к Вере Засулич, и в «Критике Готской программы» и пр.

Подобно Марксу, Герцен, в частности, был категорически против того, чтобы в революции прыгать от первого месяца беременности (если общество действительно «беременно революцией») сразу в девятый: тем самым наверняка будет исключена сама возможность рождения; более того, развитие пойдет вспять. Вот только одна из герценовских формул: «Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад» (XX, 582).

Герцен убежден в грядущем торжестве социалистического идеала. Он пишет о неизбежности конца «исключительного царства капитала и безусловного царства собственности» (XX, 577). Он даже считает такое осознание исторической ситуации всеобщим, полагая, что оно так же закономерно предшествует грядущему социальному перевороту в пользу «четвертого сословия», как сознание несправедливости в отношении «третьего сословия» предшествовало другому великому историческому акту — революции 1789 г.



Однако в письмах «К старому товарищу» Герцен, как и прежде, утверждает, что «общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоеешь. Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчищаются развалины, снова начнет с разными изменениями *какой-нибудь буржуазный мир*. Потому что он *внутри не кончен и потому еще, что ни мир строящийся, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь*» (XX, 577). Другими словами, согласно Герцену, Западная Европа еще не созрела до социализма, до социалистической революции — и последовавшее через два года поражение Парижской коммуны 1871 г. с полной очевидностью обнаружило справедливость этого прогноза.

По Герцену, победа социализма в качестве одного из неперменных своих условий предполагает разработку научной теории будущего общества. Но таковой (надо ли напоминать здесь о том, что с теорией пролетарского социализма К. Маркса и Ф. Энгельса автор писем «К старому товарищу», в сущности, знаком не был) Герцен нигде не находит. А без нее выступление пролетариата грозит, по его убеждению, повторить печальный опыт 1848 г.: «Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплоченный в одну дружину, мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать, — но что было бы, если б победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные бойцы высказали все, что у них было за душой...» (XX, 576).

В этих словах — суммарная оценка, так сказать, «теоретического наследия» тех демократических деятелей Запада, которых Ленин относил к представителям буржуазного и мелкобуржуазного социализма, «окончательно убитого» июньскими днями 1848 г.³³ И оценка эта у Герцена совершенно определена: «Ни одной строящей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже, ведут к разорению, к застою, к голодной смерти» (XX, 576).

Конечно, признает Герцен, социалистическая мысль доработалась до ряда положений общего характера, выдвинула идеи коллективной собственности, необходимости переворота в экономических отношениях, солидарности. Но этого недостаточно. У современных, известных ему теоретиков будущего Герцен не видит ясных представлений о грядущей социальной «организации»; неизвестен им и «процесс (кроме простого ломанья), которым должно совершиться превращение в нее старых форм»; наконец, не готова, как считает Герцен, и «та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело» (XX, 577).

В этих условиях призыв к революционному насилию как средству установления нового

ЛОНДОН. ДОМ, ГДЕ В 1860—1863 гг.

ЖИЛ ГЕРЦЕН

Орсетт-хауз, Вестборн-террас

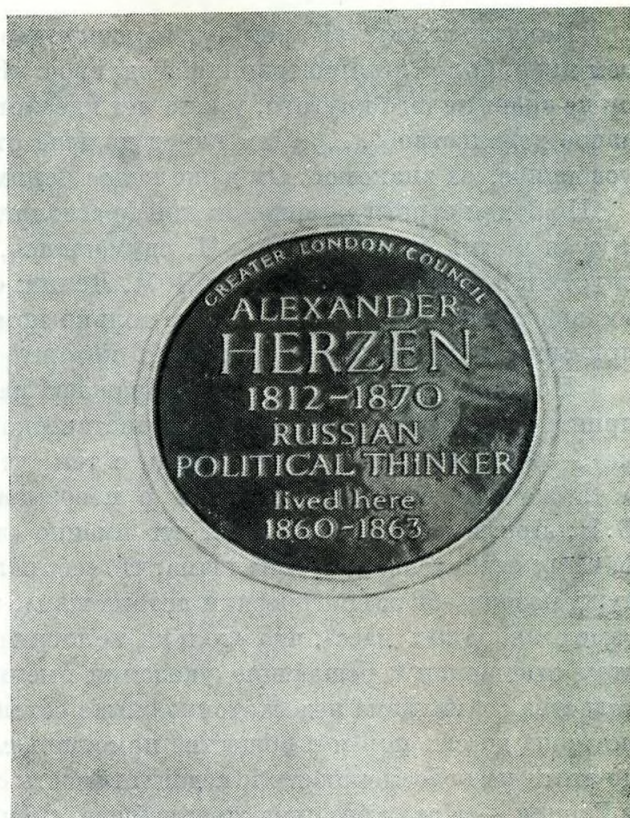
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Установлена Советом Большого Лондона 23 сентября 1970 г. на стене дома, где жил Герцен

«Greater London Council. Alexander Herzen 1812—1870. Russian political thinker lived here 1860—1863»
(«Совет Большого Лондона. Александр Герцен 1812—1870. Русский политический мыслитель жил здесь в 1860—1863 гг.»)

Фотографии, 23 сентября 1970 г.

Архив «Литературного наследия», Москва



стройка вреден. «Насильем можно разрушать и расчищать место — не больше. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Кабе не пойдет. Новые формы должны все обнять и вместить в себя все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь все согласовать — к общему благу (как мечтали о страстях фурьеристы)» (XX, 578). В общем, идти в социальной революции «на авось» не только опасно, но даже преступно.

«Старый порядок вещей, — утверждает Герцен, — крепче признанием его, чем материальной силой, его поддерживающей». И добавляет: «Это всего яснее там, где у него нет ни карательной, ни принудительной силы, там, где он твердо покоится на невольной совести, на неразвитости ума и на незрелости новых воззрений, как в Швейцарии и Англии» (XX, 579). Ставя здесь проблему народного сознания как фактора исторического процесса и настаивая на необходимости его изучения и овладения им, Герцен вновь, как мы видим, апеллирует к собственному, личному, так сказать, «страноведческому» опыту — а уж жизнь в Англии и Швейцарии он знал хорошо...

За истекшее двадцатилетие Запад научил Герцена также и тому, что самые развитые, самые демократические государственные, политические формы — при отсутствии развитости самих масс — приводят (или могут привести) к самым порочным результатам. Имея в виду, скорее всего, восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, автор писем «К старому товарищу» заявляет: «Мы знаем, что значит ошибиться в возрасте и в степени понимания. Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался» (XX, 584).

Необходимый компонент грядущего переворота — само массовое, народное сознание, обыденные представления о семье, собственности, наследстве и т. п. Именно от этого, считает Герцен, в громадной, если не в определяющей, степени зависит успех или неуспех движения. Пусть эти предрассудки, которыми руководятся массы, — своего рода болезнь, вроде раковой, от которой они сами больше всего страдают. Но если решиться вылечить их от этой болезни политической хирургией, «всего яростнее восстанут за „рака“ ... наиболее страждущие от него (<...> Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой» (XX, 584).

Мало того, что Герцен выражается здесь подобно Марксу³⁴, — тут проявляется еще и выдающийся дар предвидения: Герцен как бы указывает на одну из причин поражения неизвестной ему, грядущей Парижской коммуны, не поддержанной крестьянством...

Бакунинскому: «Народ — революционер по инстинкту» — Герцен противопоставляет совсем иное, более исторически справедливое: «Народ — консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его идеал — буржуазное довольство (<...> Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах» (XX, 589).

Не будем строги к герценовской фразеологии — попробуем поглубже вдуматься в заключающуюся в этих словах мысль. И, вдумавшись, поразимся созвучию ее с тем, что писал полвека спустя и в других выражениях В. И. Ленин: «Помещики и капиталисты сильны не только своими знаниями и своим опытом, не только помощью богатейших стран мира, но также и силой привычки и темноты широких масс, которые хотят жить „по старинке“ . . .»³⁵.

Не менее сильно удивляют, поражают нас сегодня те идеи Герцена, которые выражают неприятие им революционно-авантюристического «петроградизма» и «казарменного коммунизма», — идеи, во многом совпадающие с тем, что писал Маркс, критикуя Нечаева и Бакунина, а также с ленинскими мыслями о невозможности строить социализм посредством насилия. В. И. Ленин настаивал на том, что именно «живое творчество масс» выступает как «основной фактор» строительства социализма, что «социализм не создается по указам сверху», что «его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм», что «социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс», что «только коллективный опыт, только опыт миллионов может дать в этом отношении * решающие указания именно потому, что для нашего дела, для дела строительства социализма недостаточно опыта сотен и сотен тысяч тех верхних слоев, которые делали историю до сих пор и в обществе помещичьем и в обществе капиталистическом»³⁶. За полвека до этого на невозможность и недопустимость строить социализм посредством насилия указывал и Герцен — в этом его существеннейшее, специфичнейшее отличие по сути дела от всех предшествовавших и современных ему домарксистских и немарксистских социалистов. «Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?» (XX, 585) — иронически обратился Герцен к продолжателям линии бабуизма в сфере социально-политической мысли.

Именно в созидательном характере грядущей революции Герцен видит черту, отличающую ее от предшествовавших революционных переворотов, — в этом, а вовсе не в каком-то либеральном реформизме и состоит смысл его слов о собственном теперешнем неверии в *прежние* революционные пути.

Но если грядущий переворот — это преимущественно акт творчества, акт созидания, то пора оставить взгляд на революцию лишь как на расправу, пора покончить с «уголовным воззрением» на нее.

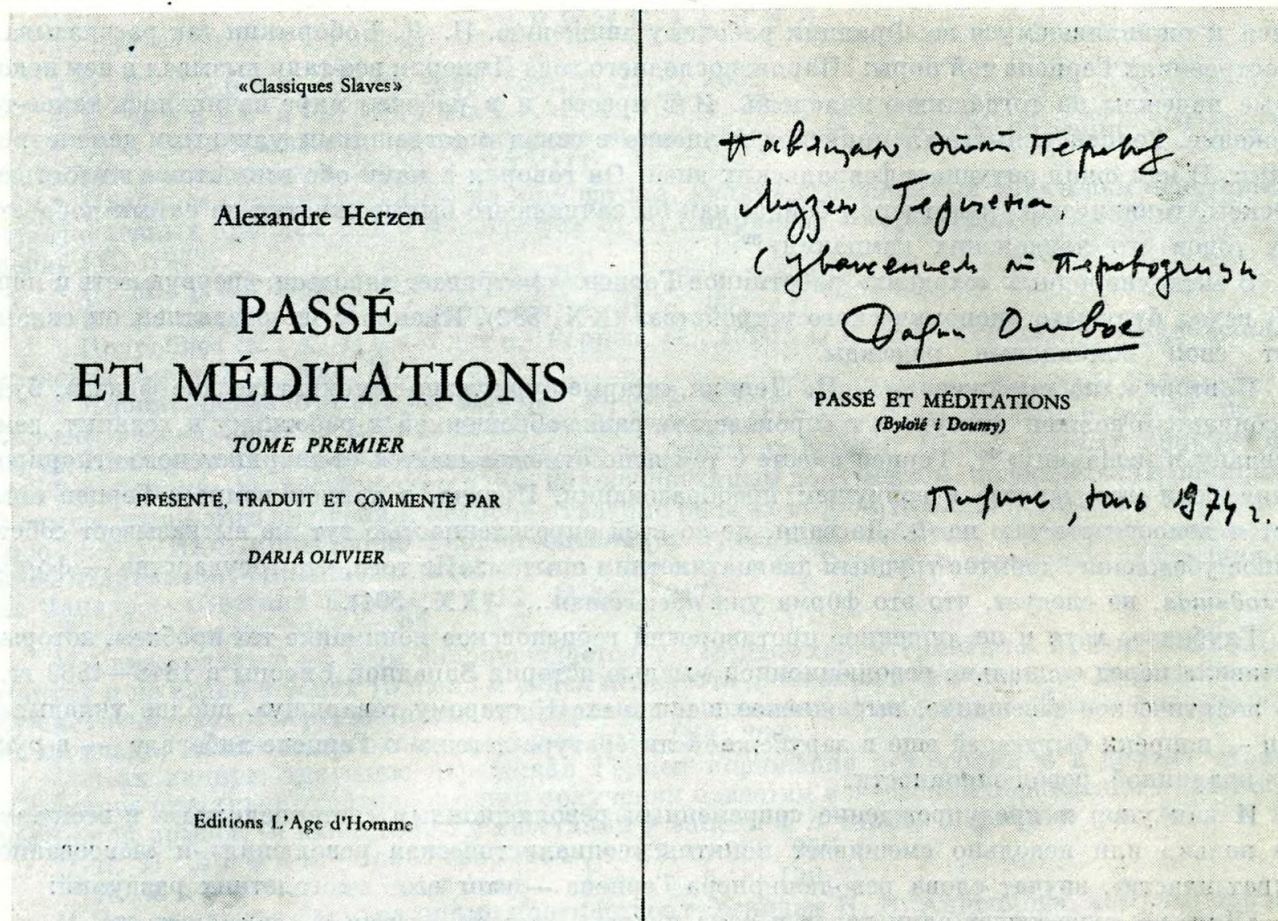
Дело не только в том, что грядущий переворот — это прежде всего переворот экономический (это для Герцена — азбука). Дело главным образом в том, что социализм, точнее, водворяющий его в мир революционный переворот «должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании. Но этого и не будет» (XX, 581)³⁷.

И как поучительно звучат герценовские слова: «Я не только жалею людей, но жалею и вещи, и иные вещи больше иных людей (<...> Довольно христианство и ислаимизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказала статуи, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев» (XX, 593).

Итак, вот один из главных выводов, который Герцен сделал из западного опыта: *идейная убогость и практическая порочность прямолинейного революционаризма*. А отсюда уже естественно было делать такое, очень важное для революционной теории, заключение: «Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в Москву, — и погибнуть, отступая от нее... не доходя даже до Березины» (XX, 583).

Оценивая письма «К старому товарищу», В. И. Ленин писал, что, разрывая с анархистом Бакуниным, Герцен «обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс (<...>»³⁸.

* т. е. для строительства нового общества. — А. В.



«БЫЛОЕ И ДУМЫ». ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ ИЗ СЕРИИ
«СЛАВЯНСКИЕ КЛАССИКИ»

Перевод и комментарии Д. Оливье. Lausanne, 1971—1974

Том первый. Титульный лист и шмуцтитул с дарственной надписью: «Посвящаю этот перевод Музею Герцена. С уважением от переводчицы Дарии Оливье. Париж, июнь 1974 г.»

Музей Герцена, Москва

Внимательное наблюдение действительности вело к тому, что во второй половине и особенно в конце 1860-х годов скепсис Герцена в отношении творческих сил народов Западной Европы начинает сходиться на нет; все сильнее звучит у него оптимистическая нота. Еще в 1862 г., оценивая в «Концах и началах» положение дел в «мещанской» Европе, Герцен писал: «Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как, и вынесет ли его старое тело или нет? Этого я не знаю, да и Ст. Милль не знает. Опыт нас проучил; осторожнее Маццини, мы смиренно держимся точки зрения прозектора. Лекарств не знаем, да и в хирургию мало верим». И тут же: «Иногда я приостанавливаюсь, мне кажется, что худшее время прошло, я стараюсь быть непоследовательным: мне кажется, например, будто стнетенное слово во Франции вырастает в мысль... я жду, надеюсь... бывает же иногда и исключение... будто что-то брезжит... нет, ничего!» (XVI, 148—149). Но уже в 1866 г. Герцен находит в западноевропейской жизни силы, «пробуждающиеся к свету, которые могут оплодотвориться разумом и спасти организм...» (XX, 608). Два года спустя, отмечая признаки революционного пробуждения Европы, Герцен бросает в адрес одного своего противника такие слова: «Легко сказать с видом деревенского школьного учителя: „Время социализма прошло“ <...> — и это в то время, когда с удесятеренной силой пробудились социальные вопросы во всей Европе, не исключая Англии...» (XX, 422). В мае 1869 г. Герцен пишет сыну: «Когда я вглядываюсь в силу социального движения, в глубь его и в его страстность — я вижу ясно, что настоящая борьба мира доходов и мира труда не за горами <...>» (XXX, 119).

Основной силой, с которой Герцен связывает теперь свои надежды на осуществление социализма, является Интернационал. К его конгрессам Герцен проявлял интерес еще с 1866 г. Внимательно слушал он рассказы об этих конгрессах П. Д. Боборыкина, присутствовавшего на них в качестве корреспондента. Прибыв осенью 1869 г. в Париж, Герцен с надеждой присматри-

вался к оживлявшемуся во Франции рабочему движению. П. Д. Боборыкин так рассказывал о настроениях Герцена той поры: «Париж последнего года Империи все-таки вызывал в нем некоторые надежды на тогдашнюю молодежь. И в прессе, и в рабочем мире начиналось какое-то брожение. Герцен испытывал приятное волнение в связи с тогдашними уличными демонстрациями. В нем ожил энтузиаст февральских дней. Он говорил с нами обо всем этом с живостью, блеском, горячностью и натиском бойца, как бы зачуявшего былые схватки из самых доблестных годов его лондонских кампаний»³⁹.

В международных «сходках» работников Герцен усматривает зародыш, «первую сеть и первый всход будущего экономического устройства» (XX, 582). Именно с их развитием он связывает свои социальные надежды.

Повторяя, по выражению В. И. Ленина, «старые буржуазно-демократические фразы», будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину»⁴⁰, Герцен вместе с тем ясно отмежевывается от анархистского игнорирования роли государства в грядущем преобразовании. Правда, в данном вопросе Герцен опирается непосредственно на Ф. Лассаля, но со всей определенностью тут же высказывает собственное убеждение, добытое трудным двадцатилетним опытом: «Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прешедшая*...» (XX, 591).

Глубокое, хотя и не лишенное противоречий герценовское понимание тех проблем, которые поставила перед социально-революционной мыслью история Западной Европы в 1848—1869 гг., его политическое завещание, выраженное в письмах «К старому товарищу», вполне укладывается — вопреки бытующей еще в зарубежной литературе легенде о Герцене-либерале — в русло подлинной революционности.

И как укор и предупреждение современным революционным «нетерпеливцам» и всем тем, кто вольно или невольно смешивает понятия «социалистическая революция» и «завоевание, захват власти», звучат слова революционера Герцена — итог его многолетних раздумий:

«Для нас существует один голос и одна власть — *власть разума и пониманья*.

Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации» (XX, 589).

XIV

Без западноевропейской революционности и культуры не было бы Герцена.

Но и западноевропейская культура и мировая революционность неполны, ущербны без Герцена — публициста и художника;

Герцена — философа, ни в чем не уступавшего самым глубоким и интересным мыслителям западноевропейского XIX века;

Герцена — социалиста, давшего миру идею о возможности миновать капиталистическую стадию в историческом развитии отдельных народов к строю подлинного равенства⁴¹, к обществу, где будет разрешена наконец «самая трудная, — по мнению Герцена, — социальная задача» (V, 62) и «действительная воля народа» будет опираться на «свободу лица» (VI, 14);

Герцена — глубокого диагноста некоторых социально-нравственных недугов и болезней, вроде омертвления;

Герцена — революционера, поставившего глубочайший вопрос о нравственности в политике, не снятый до сих пор с повестки дня освободительного движения. Как актуально звучат и сегодня — особенно для тех стран и народов, которые совершают революции или которым она только еще предстоит, — слова Герцена о несовпадении социальной революции с заговорами, политическими убийствами, террором, бунтами и иными формами пролития крови, слова о нравственной невозможности, тупиковости, антинародности тех форм борьбы, где народные массы играют роль лишь «мяса освобождения» (XVI, 26, 28) . . .

Любому человеку, какой бы стране, нации, времени, классу, социальной группе он ни принадлежал, знакомство с Герценом помогает лучше понять, что деление мира человеческого происходит не по меридианам и параллелям: запад — восток, юг — север... Деление это происходит по степени ответственности людей, партий, классов, народов за судьбы человечества.

Таков один из основных заветов Герцена. Завет нам и потомкам нашим, ибо, как писал о Герцене Лев Толстой: «Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их»⁴².

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 255.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 30.

³ С. А. Макашин. Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX вв. («Лит. наследство», т. 29-30, с. XXVIII).

⁴ Наиболее содержательный, на наш взгляд, анализ герценовской трактовки некоторых из перечисленных проблем дан в монографии З. В. Смирновой «Социальная философия А. И. Герцена» (М., 1973).

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. I, с. 132.

⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

⁷ Подробнее см.: А. Володин. Герцен. М., 1970; Он же. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973.

⁸ Прочитывая отрывок из шестого письма цикла «Письма из Франции и Италии», где Герцен рассказывает о событиях в Риме 31 декабря 1847 г.— 2 января 1848 г. (см. V, 92—93), М. М. Ковалевский заметил: «Разве все это не сцены из жизни? Какой историк пройдет мимо этого описания, не воспользуется им как неоцененным документом, позволяющим проникнуть в самую душу того движения, которое охватило со всех сторон Италию и повело к ее объединению <...> Как прозорливо Герцен оценивает грядущие события, пользуясь своим знанием итальянского прошлого...» (М. Ковалевский. Герцен и освободительное движение на Западе.— «Вестник Европы», 1912, № 6, с. 217).

⁹ «Лит. наследство», т. 63, с. 382.

¹⁰ Свидетельство об этом сопровождается у Герцена характернейшим признанием: «Ни на минуту я не верил в успех 13 июня и видел нелепость движения и его бессилие, народное равнодушие, осирепелость реакции и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли» (XI, 366).

¹¹ Как личную трагедию переживал Герцен поражение революции и в других странах. «Страшное отчаянье» охватило его при получении известия о жестоком подавлении прусской карательной армией (в июне 1849 г.) восстаний в западной и южной Германии (см. XXIII, 187).

¹² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256, 257.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, с. 139.

¹⁴ Эти суждения Герцена прямо противостоят взглядам П. В. Анненкова, который оправдывал поведение «вождей революции» ссылкой на внешнюю необходимость, заставлявшую их поступать так, а не иначе. Переправляя с Анненковым свое письмо московским друзьям от 6 сентября 1848 г., Герцен серьезно предупреждает их быть «осторожными», слушая его повествования о событиях во Франции: «Он стал на какую-то странную точку — безразличной и маленькой справедливости, которая не допускает до него большую истину. Какое-то резонерство и отыскивание объяснений всему из начал необходимых, благоразумных, — так, как некогда Белинский строил русскую историю и наши нужные места превращал в необходимые <...> Он до сих пор защищает пошлую личность Ламартина — а я его ненавижу, — ненавижу не как злодея, а как молочную кашу, которая вздумала представлять из себя жженку... etc., etc.» (XXIII, 96—97).

¹⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.

¹⁶ Там же, с. 256.

¹⁷ Исследователями отмечается, в частности (см. XXIII, 403), совпадение высказанной Герценом в сентябре 1849 г. мысли о том, что после поражения пролетариата и демократии республика во Франции сохранялась лишь вследствие соперничества трех монархических течений, с анализом обстановки после событий 13 июня 1849 г. в работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции» (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 77).

¹⁸ Маркс, к примеру, писал в 1867 г., что грядущая пролетарская революция примет в Европе «более жестокие или более гуманные формы в зависимости от уровня развития самого рабочего класса» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 8). См. также: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 199.

¹⁹ Выражение М. А. Бакунина (М. А. Бакунин. Полн. собр. соч. и писем, т. III. М., 1935, с. 139, 148).

²⁰ Герценовская оценка «поэзии заговоров» (XVI, 143), данная им в 1862 г. при характеристике деятельности Маццини, — хороший повод напомнить о том, что основоположники научного коммунизма резко выступали против смешения таких форм политической деятельности, как, с одной стороны, заговор, прямо нацеленный на «непосредственное восстание», и, с другой стороны, «организация и развитие пролетариата» в целях осуществления социальной революции. В частности, весной 1850 г. Маркс и Энгельс писали в «Neue Rheinische Zeitung»: «Заговорщики не довольствуются тем, чтобы вообще организовать революционный пролетариат. Их дело заключается как раз в том, чтобы опережать процесс революционного развития, искусственно гнать его к кризису, делать революцию экспромтом, без наличия необходимых для нее условий. Единственным условием революции является для них надлежащая организация их заговора. Они — алхимики революции и целиком разделяют превратность представлений, ограниченность навязчивых идей прежних алхимиков» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 287—288; см. также с. 289).

²¹ Эти же явления по-своему констатировали — и не раз обсуждали между собой — и основоположники научного коммунизма. 7 октября 1858 г. Энгельс писал Марксу: «Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, с. 293). Спустя несколько лет, 8 апреля 1863 г., Энгельс отмечает, что «революцион

ная энергия у английского пролетариата почти совершенно исчезла, и он объявляет себя совершенно примирившимся с господством буржуазии» (там же, т. 30, с. 276—277). Маркс так ответил на эти слова: «Скоро ли избавятся английские рабочие от явного их развращения буржуазией, покажет будущее» (там же, т. 30, с. 280; ср. т. 19, с. 155).

²² Один из очевидцев первых лет пребывания Герцена за границей, Г. Раш, рассказывал: «Дом его <...> был открыт изгнанникам самых разных национальностей: там можно было встретить немцев, итальянцев, поляков, румын, сербов, венгров <...> Чтобы получить доступ в дом Герцена, не нужно было никакой рекомендации, никаких представлений. На вспомоществование этим изгнанникам Герцен истратил в 1848 и 1849 гг. много тысяч. Через мои руки прошли значительные суммы, которые он выдавал мне на венских эмигрантов, которых он знал только по имени, причем я не имел даже права, при передаче этих сумм по назначению, сказать, от кого они идут. Многие содержались исключительно на его счет; жены двух австрийских эмигрантов разрешились от бремени в его доме, потому что дома у них не было для этого надлежащих удобств» (цит. по ст.: М. Гершензон. Герцен и Запад. (Глава из биографии А. И. Герцена). — «Русская мысль», 1907, № 3, с. 142 второй пагинации). Среди эмигрантов, с которыми общался Герцен, Раш называет К. Россети, А. Подуляка, Нидергубера, Э. Гауга, К. Таузенау и др.; см. также Л V, 269—270.

²³ Цит. по «Обзору русских и иностранных отзывов о «Былом и думах» (XI, 766).

²⁴ Там же, с. 767.

²⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, с. 405.

²⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 258.

²⁷ Там же, т. 12, с. 41.

²⁸ См., напр.: И. В. Порох. Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963.

²⁹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 666.

³⁰ Там же, с. 661, 664, 663.

³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 338.

³² См. А. Володин, Ю. Карякин, Е. Плимак. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х годов XIX века. М., 1976; И. Пантин, Е. Плимак. Н. Г. Чернышевский: на пути к революционной теории («Коммунист», 1961, № 15).

³³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

³⁴ 13 февраля 1863 г. в связи с началом национально-освободительного восстания в принадлежавших царской России польских землях Маркс писал Энгельсу: «Что ты скажешь по поводу польской истории? Ясно одно — в Европе снова широко открылась эра революций. И общее положение дел хорошее. Но наивные иллюзии и тот почти детский энтузиазм, с которым мы приветствовали перед февралем 1848 г. революционную эру, исчезли безвозвратно <...> Кроме того, теперь мы уже знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, с. 266).

³⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 155.

³⁶ Там же, т. 35, с. 57; т. 36, с. 380.

³⁷ Герцен еще раньше подобным образом критиковал прудоновский идеал будущего строя как «скудной мастерской»: «Справедливость», к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не изящное уравнивание страстей и жертв <...> «Свободная» личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу <...> Суровая римская семья в современной мастерской — идеал Прудона» (X, 198).

³⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.

³⁹ П. Боборыкин. Великий москвич («Русское слово», 1912, № 71, 15 марта).

⁴⁰ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257. В этом месте В. И. Ленин цитирует слова Герцена (XX, 593), направленные против бакунинской апелляции исключительно к разрушительному «делу».

⁴¹ Научное значение идея некапиталистического пути развития к социализму приобрела, как известно, лишь в общей системе теории марксизма, но к ее создателям она пришла, вероятно, все же от Герцена, через посредство произведений Чернышевского, в данном отношении являвшегося герценовским учеником и последователем.

⁴² Запись в дневнике от 12 октября 1905 г. (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 55. М., 1937, с. 165).